

## Annotation

Аврора. – 1996. – № 2. – С. 7–78; № 3. – С. 92–119.

---

- [Глеб Горышин](#)
    - [Визит первый](#)
    - [Визит второй](#)
-

**Глеб Горышин**

**В Англии на посиделках, или что  
скажет Джин**

*Повествование в двух частях (визитах)*

# Визит первый

## I

...и в пабе том провинциальном,  
от центров шумных в стороне  
я пиво пил — принципиально! —  
не в стенах паба, а вовне.

...Все последующее написано в вагонах трансъевропейских поездов: Берлин-Кельн; Кельн-Остенде; на пароме Остенде-Дувр (англичане зовут паром «Ферри»); Дувр-Лондон... И в обратном направлении, до Варшавы... В Европе можно в поезде делать путевые записи своим собственным, неизменным почерком: вагон не трясет... Впрочем, многое записано в английском городке Дорридже, с трехтысячным населением, в Мидлэнде, то есть в Средней Англии, в доме Шерманов, Яна и Джин, на Уоррен Драйв, 12, на втором этаже, в светелке, с выключенным на ночь отоплением, незадолго до Рождества. Одна рождественская запись привезена из Варшавы. Дома дописывалось то, что не вытряслось из памяти.

Однако все по порядку. Как-то под вечер, а именно 17 сентября 1987 года, я вышел из моего дома на канале Грибоедова, 9, в котором витают духи когда-то здесь живших писателей: Заболоцкого, Хармса, Шишкова, Зощенко, Ольги Форш, Соколова-Микитова (полный списочный состав предвоенного Союза писателей Ленинграда)... Духи — народ молчаливый, с нами не разговаривают; обмен мнениями с ними — духами — пока откладывается на потом... Окна нашего дома выходят не только на канал; в окошко я ежеутренне вижу, как из подъезда дома напротив, в Чебоксарском переулке, из морга больницы имени Софьи Перовской выносят ногами вперед покойника,

погружают в машину с черной опояской... Провожающие с цветами плачут, о чем-то переговариваются, топчутся, курят. Иногда за утро выносят двух покойников, царствие им небесное. А нам дальше жить, не упуская из виду собственное место в очереди... на вынос...

Только непонятно, почему больницы — приюту милосердия — присвоили имя бомбистки Софьи Перовской... Софья Львовна Перовская все силы своей души отдала тому, чтобы вернее кинуть бомбу в царя Александра II... В 1883 году суд присяжных приговорил ее к повешению; приговор приведен в исполнение... Александр Исаевич Солженицын посвятил много проникновенных страниц в «Архипелаге ГУЛАГе» милостивой, бескровной юриспруденции в царской России, до 17-го года... Так, стрелявшую в петербургского градоначальника Трепова Веру Засулич присяжные признали невиновной... А Софью Перовскую все же повесили, что-то в ней было такое, за пределом милости... Почему же ее имя — больницы, где всяк, ступивший на порог, уповает на милость к нему — персонала больницы и Всевышнего?..

Дальше вглубь истории не иду; сказанное — для характеристики дома, из которого вышел в тот вечер, когда произошла завязка будущего путешествия. Путешествие тоже домашнее: из дома в дом в Англии; с заворотом на возвратном пути к нам на канал — и далее вглубь России. Экую предстоит описать загогулину — Боже мой!.. В тот вечер я отправился подышать воздухом в Михайловском саду, где липы и клены в меру сил поглощают углекислоту из атмосферы, а сидящие на скамейках девы нещадно ее отравляют дымом своих сигарет...

В этом традиционном месте прогулок и встреч мне попала группа англоязычных. В группе предводительствовала переводчица Интуриста Татьяна. О, Татьяна! Мы бросились друг к другу... От взаимных объятий и поцелуев нас удержали правила поведения, усвоенные нами в школе, семье, комсомоле тех лет, когда не принято было обниматься и целоваться при посторонних.

Мы познакомились с Татьяной в Англии, в ноябре 1986 года; ее приставили к нашей туристической группе писателей переводчицей-гидом. Все мы тогда относились к Татьяне любезно, даже искательно: русскоязычному на берегах туманного Альбиона без переводчицы дело швах. Один пожилой, грузный, смуглокожий, седовласый, кудрявый, с

ласковыми желтыми глазами питона, только что проглотившего кролика, с биркой на чемодане — VIP: «very important person» — «очень важная персоне», — в ту пору депутат Верховного Совета одной из южных республик (потом — депутат Верховного Совета СССР), относился к Тане, как босс к своей личной секретарше. Например, назначит Тане сводить его с бабой (баба у босса с выраженными славянскими чертами, русскоязычная, как в свое время у владыки Монголии Цеденбала или Грузии Мжаванадзе) в самый дорогой лондонский магазин одежды: там баба попримеряет, покочевряжится, Таня попереводит, ни с чем и вернется: у бабы народного депутата не те габариты. В разговорах кучерявый подчеркивал, что побывал в таких-то и таких-то странах по правительственному разряду; в Англию поехал ради собственной бабы... Поэксплуатируют Таню, после пригласят ее в номер и там... Таня сама мне рассказывала: баба очень важной персоны достанет большую банку с черной икрой, зачерпнет ложкой — не столовой, десертной — и Тане на блюдечко, за труды. Рассказывая, Таня посмеивалась, но иногда у нее в глазу проступала слеза. Прислуживаться ей было тошно, а и отказать не могла очень важной персоне.

Нас сблизило с Таней одно дело, сначала неприятное для меня, но обернувшееся, благодаря Тане, совсем неожиданным выигрышем. Дело вышло такое: мы прилетали из Москвы, из Шереметьева, в аэропорт Хитроу — самый крупный, самый напряженный по обороту, самый четкий, самый предупредительный к клиенту и т. д. и т. п. Только вылезли из самолета, тут тебе и вещички, пожалуйста, и мой желтый чемодан, купленный когда-то в Польше... Но в чемодане что-то не так, чего-то в нем не хватает. Ах, вот... На одном боку был карман, его вырвало с мясом на каком-то погрузочно-разгрузочном агрегате. С моим ободранным чемоданом я поспешил к переводчице Тане, как бежит со сломанной игрушкой к маме зареванное дитя. Около Тани уже стоял взволнованный, крайне возбужденный глава нашей группы московский драматург Н., не такая важная персоне, как кучерявый, но, видимо, тоже персоне: у его фээргэшного чемодана сломали застежку. Таня сказала, что урон возместят, на то и Англия, только надо все оприходовать и оформить. Таня куда-то сбегала, кого-то привела, о

чем-то поторговалась, на наших глазах заполнила какой-то бланк, и нас заверила: все будет о'кей.

Потом о чемодане забылось; в нем и без кармана хватило места для того немногого, что позволили мне приобрести мои архискромные фунты, шиллинги и пенсы; привезенные в Англию бутылки, естественно, опорожнились, матрешки раздарились. В последний день пребывания (рано утречком в Хитроу — и гуд бай, Англия), под вечер Таня сказала, что надо срочно бежать в представительство нашего Аэрофлота — успеть содрать с них причитающиеся мне и драматургу. Оказывается, английская сторона рассчиталась с советской стороной за причиненный нам с драматургом урон, теперь надлежит раскошелиться Аэрофлоту.

В лондонском офисе Аэрофлота нас приняли хмуро, настороженно, как это заведено во всех советских присутствиях за рубежом: приходит проситель-соотечественник, значит, надо ему отказать, самим едва хватает того, что дают, поделиться нечем. Главным боссом в лондонском Аэрофлоте оказался молодой человек лет тридцати с небольшим, с уплывающей, ускользающей внешностью, с выражением заведомой непричастности ни к чему на лице. Одет был босс во все то, что продают на Оксфорд-стрит, в универмаге Маркса и Спенсера или еще где-нибудь. Глаза его выражали то же, что выражают билеты лото «Спринт» с надписью: «Без выигрыша».

Лондонский аэрофлотовский босс, когда прочел подsunутую ему Татьяной бумагу, тотчас подчеркнуто неприязненно отбросил ее, членораздельно нам объяснил, что вот мы... вернемся в Москву, предъявим бумагу в Шереметьево, там с нами и разберутся. Если есть за что, заплатят... Ну, конечно, советские деньги. В этом месте монолога аэрофлотовского босса я достал из подмышки приготовленную загодя книгу моих сочинений, спросил у хозяина кабинета, как его зовут... Таким образом монолог был прерван, босс с опаской поглядывал, что я пишу на титуле книги, принял ее от меня, долго вчитывался в только что написанное мной, общепринятое: «Такому-то с наилучшими пожеланиями от автора». Драматург Н. извлек из дипломата афишу, кажется таганрогского театра драмы, сказал, что сейчас его пьесу ставят в Москве на Таганке, на Малой Бронной и где-то еще. Он заверил каменно сидящего в кресле за

большим столом с телефонами молодого человека, что когда тот приедет в Москву, позвонит ему, драматургу Н., билеты... с билетами нет вопросов. Драматург Н. подал боссу свою визитку, босс медленно, с усилием, как графолог, прочел ее. Он с минуту подумал, ход мысли отобразился на его беспечном, гладком, белом лице — легкой рябью, движениями светотени. Он отгреб от себя все ему презентованное, в глазах промелькнула решимость найденного хода.

— Мне нужен оценочный акт, — сделал свой ход в одновременной игре с нами троими аэрофлотский гроссмейстер. — Вы сходите в какой-нибудь магазин, где продаются чемоданы, пусть там оценят ваши вещи и причиненный ущерб... Принесете мне акт с печатью, из магазина. А так что же? они пишут двадцать пять фунтов, это же с потолка! — Босс взял со стола бланк аэропорта Хитроу, заполненный сразу по прилете Татьяной, на английском языке; я разглядел в бланке цифру 25, почти равную тому, что нам обменяли на поездку. У меня участилось сердцебиение. Игра стоила свеч.

— Мы улетаем завтра в семь часов утра, — застрекотала Татьяна, — сегодня мы уже не успеваем ни в один магазин до закрытия. Вы ставите наших видных писателей вот, товарищ Н. — руководитель делегации, товарищ Г. — ведущий... в безвыходное положение. Они вынуждены вместо своих, испорченных по вашей вине чемоданов приобрести соответствующую тару, потратить валюту. Иначе они не смогли бы сделать покупок в Англии. Так не принято у порядочных людей. И я в своем отчете по линии Интуриста обязательно отмечу этот ваш недоброжелательный жест... — Татьяна еще много чего наговорила аэрофлотскому товарищу, все время срезала, сбивала, ошеломляла его, когда он пытался продиктовать условия, навязать свою игру.

И все же... этот стреляный воробей, этот тертый калач (не зря же он сидел в советском офисе на Бейкер-стрит) не собирался давать нам ни пенса. На улице стемнело, хозяин кабинета тянул резину, не зажигал свет, всем видом показывая, что аудиенция закончена. Тогда... в ход был пущен некий последний, так и оставшийся для меня таинственным аргумент... Хотя какая тайна — все мы под колпаком наших всевидящих органов, особенно за границей... Московский драматург Н. — руководитель нашей группы, приехавший в Лондон за наш же счет, — вдруг сменил выражение на лице, как-будто

переоделся из гражданского платья в мундир... Он посмотрел на аэрофлотского босса каким-то особенным, сближающим, глаза в глаза, взглядом, изменившимся, вкрадчивым, с едва уловимым для стороннего уха обертонами голосом сказал:

— Перед отъездом сюда я заходил... — драматург Н. сделал что-то значащую паузу, — к Юрию Ивановичу... — Это вдруг подействовало на советского босса в Лондоне, что-то в нем вздрогнуло, встрепенулось. — По возвращении я тоже у него буду, — выговаривал драматург построжевшим тоном. — Что-нибудь передать Юрию Ивановичу от вас?

— Да нет, пока ничего не надо, — задергался аэрофлотский товарищ, в чем-то, видимо, зависимый, как и драматург Н., от московского Юрия Ивановича. Опять-таки что-то прикинул в уме, на что-то решился, как-будто на отчаянно-щедрый поступок... — Ну вот что, ребята, по десять фунтов вам хватит?

— Хватит! хватит! — внезапная радость осуществления несбыточной надежды самым непосредственным образом отобразилась на наших с драматургом Н. лицах, прозвучала в поспешном согласии: как бы даватель не передумал...

Босс насупил реденькие белесоватые брови...

— Вот вам по листу бумаги, пишите расписки. — Мы достали перья, выразили готовность писать. — Значит, так... в представительство Аэрофлота, город Лондон... Я, такой-то... фамилию, имя, отчество полностью, прож. там-то... Теперь дальше: кто вы, члены Союза писателей или нет? Вы — члены? — Мы заверили, что да, члены. — Вот и напишите, что член... Ввиду то, что... Нет, лучше: в силу того, что... Нет, этого вообще не надо. Напишите так: «За причиненный ущерб моему багажу при перелете Москва-Лондон, дата, номер рейса...» Так. Написали? Я получил полное материальное вознаграждение в представительстве Аэрофлота, город Лондон... Никаких претензий не имею. Так? Подпись, число. Сумму писать не надо.

Было заметно, что представителю Аэрофлота явилась какая-то счастливая мысль, он посветлел лицом. Достал из внутреннего кармана пиджака... нет, не бумажник, а довольно-таки засалившуюся пачку фунтов стерлингов, с портретом английской королевы на каждой купюре (или короля, уже не помню, настолько коротким вышло

владение купюрой), отключил от пачки по червонцу и выдал. Принял наши знаки благодарности с важной невозмутимостью. Рандеву закончилось. Из него я вынес знание, почему нами руководят в зарубежных поездках те лица, а не иные.

После раунда в лондонском Аэрофлоте (было окрыляющее состояние: наша взяла!) Татьяна нам попеняла: «Можно было из него выбить и по двадцать пять». Драматург Н. малость взгрустнул: «Да, можно бы...» Я не смог скрыть обуревавшего меня восторга: целых десять фунтов в последний вечер в Лондоне! И, главное, ни из чего: мой чемодан без кармана стал даже более обтекаемым, аэродинамичным.

И все Татьяна! Ах, если бы не она... Так хотелось побыть с ней вместе в тот вечер, но сначала ее залучила к себе очень важная персона, потом, я видел, куда-то они побежали, озабоченные, с драматургом Н. Служба есть служба.

В Ленинграде, в Михайловском саду, Татьяна меня представила группе англоязычных, которых привезла и теперь прогуливала. Они разглядывали меня, как разглядывают зимовщики в Антарктиде пингвина. Что я им мог предложить? А предложить что-нибудь очень хотелось: не так просто встретиться-разминуться, а чтобы у них, англоязычных, остался бы какой-нибудь узелок на память. Я пригласил Татьяну с группой ко мне домой на чашку чая; англоязычные посоветовались с Татьяной. Видно было, что группа сполна полагается на своего гида; Татьяна завершила группу в том, что я не бандит, не маньяк, не агент. Из группы выделились трое, как впоследствии оказалось, — семья Шерман: Ян, Джин, их дочь Кэт, тезка нашей Кати, тогда восемнадцатилетняя.

Все вышло хорошо, даже сыскался привезенный мною когда-то из Англии общеупотребительный там чай фирмы «Эрл Грей» с добавкой душистого бергамота. Шерманы записали наш адрес, наша Катя записала их (она тогда училась на последнем курсе английского отделения, на филфаке). Через какое-то время пришла из Средней Англии (Мидлэнд), из населенного пункта Дорридж, почтовое отделение Солихалл, бандеролька с пачкой «Эрл Грея». В Дорридж поехал большой московский пряник. После двух лет такого, ни к чему не обязывающего обмена презентами, а также поздравительными

открытками на Новый год, из Средней Англии пришло письмо с определенными признаками приглашения: нам приехать в Дорридж (почтовое отделение Солихалл), а затем... Ну да, затем приехать Шерманам к нам. Наши вежливо-благодарственные отписки на Шерманов не действовали: в исполнении принятых решений англичане, в отличие от русских, весьма тверды, неукоснительны.

Наконец мы получили бланк приглашения, скрепленный сургучной печатью какого-то первичного муниципального органа, по нашему, поссовета. Затеялось долгое, как обмен квартир, оформление, а тут и сюрприз: новый туристический курс обмена валюты. У нас сосчитано было, что наличные наши рубли мы обменяем на такое-то количество фунтов, а вышло по новому курсу в десять раз меньше. Наша наличность никак не могла удешевиться, а билеты куплены, график приема гостей у англичан расписан по дням и пунктам. Отказаться было бы свинством, а и поехать, когда в кармане вошь на аркане... Положиться можно было только на полное доверие к нам мало знакомых людей, живущих по ту сторону Европы, за морем, на их добросердечие.

По возвращении домой, положила руку на сердце, со вздохом облегчения можно сказать, что все так и вышло, без малейшей зазубринки; в скором времени к нам приедут теперь уже близкие наши английские друзья, почти родственники. В нашей воле воздать им добром за добро.

## II

В данное время, а именно в 21 час по Гринвичу, едем в поезде Кельн-Остенде. Бросок поперек Европы (или, точнее, вдоль) проходит в стремительном темпе. Даже явился шанс достигнуть Лондона в пределах двух суток — от Ленинграда. Европа-то маленькая, не то, что наша супердержавка (велика Федора да дура). Но шанс есть шанс: неизвестно, поплывет ли паром (фэрри) в ночь глухую через Ла-Манш...

Весь день за окнами быстро идущего поезда (окна широкие, высокие, мягко опускаемые) проносилось нечто непредвиденное посередке Европы: леса, поля, совершенно посеребренные, в серебристой дымке при ясном небе; солнце тоже в серебристом, дымчатом ореоле. Все в инее, куржаке, блестках, матовости, тончайшей кружевной выделанности. Потом пошли близко друг к дружке приросшие города; немецкая речь, немецкая архитектура без небоскребов, без «точек», как часть природы. Ну, и конечно, немецкая благоустроенность. И — благорасположение у меня на душе... И опять зачарованность полей, без каких-либо признаков «сельскохозяйственного производства»; только кое-где зеленые полосы убранных капустных грядок; кони резвятся; пасутся черно-белые коровы.

В Кельне явил себя Кельнский собор, как айсберг, изнутри освещенный, льдисто-голубоватый... И на чистом тоне свечеревшего неба — новорожденная узенькая новехонькая луна. И чуть повыше звезда. Скорее всего, Венера, та же, что и у нас...

Бельгия за окном. Потемки крошечные. В Брюсселе постояли едва пять минут, как-будто это станция Бологое... Впереди Остенде, паром, в Лондоне — вокзал Виктория... Трансьевропейское турне... Для чего все это? (Поляки говорят слитно: «длячэго».)...

За столиком в вагоне поезда Кельн-Остенде, с настольной лампой, нерассеивающимся уютным светом, о чем-то весело болтает моя семья (я расположился с моим блокнотом поодаль): жена и дочка. Семье позарез нужно в Европу: Катя закончила английское отделение в университете, преподает; ей нужно поспикать на английском, послужить нам, старшим, переводчицей. Моя жена Эвелина Павловна Соловьева!.. О! У меня нет слов описать все достоинства, таланты, волевые качества моей жены. Она известный ленинградский художник-график, везет в Англию папку офортов, литографий, рисунков (на каждом листе штамп ОБИРа: уплачена таможенная пошлина). Ее тема космическая, экологическая, несколько апокалиптическая; есть и запечатленные в зрительных образах строки русских поэтов — Рубцова, Вознесенского; цветы в благородном наклоне стеблей, лепестков; книжная графика... Эвелина Павловна Соловьева прихватила с собою в Англию недавно полученную маленькую медальку с зеленой ленточкой: она — блокадное дитя. В

блокаду за младенцами охотились, чтобы съесть, но мама уберегла свою крохотулю. Покажет англичанам медаль, они же не знают, что такое блокада Ленинграда.

И я так мало знаю о членах моей семьи — самых близких людях, ближе никого не осталось в живых. Было время, казалось: наше, одно, что на лицах у нас, то и в душах; было и ушло: взрослая Катя отдалилась в мир неизвестных мне понятий, лиц, интересов. Жена с годами стала такой же почти молчаливой, как образы и символы на ее офортах; работа художника требует погружения в себя. А я — я был совершенно предан идее того коммунизма, который провозгласил строительство общего дома для всех. (Одна из заповедей данного коммунизма состоит в пропивании заработанных денег с кем ни попадя на миру). Мой собственный дом остался недостроенным. Все годы куда-то я ехал, мчался на главную стройку, торопился догнать мой поезд, а поезд уходил.

Собираясь в Англию, я думал, что там, быть может, вернется в нашу семью что-то утраченное, внутреннее: нужда друг в друге; под воздействием чужой среды, с возникающими на каждом шагу проблемами семья сплотится, найдет в себе неистраченные флюиды взаимного тяготения, может быть, и любви... Сразу скажу, что никаких трудных проблем английская действительность нам не уготовила, напротив, приняла нас милостиво, по-английски благосклонно. Офорты и литографии художницы Эвелины Соловьевой уносились любителями искусств прямо с вернисажей — в гостиной дома Шерманов, в Дорридже, на Уоррен Драйв, 12, — взамен приносились в конвертах фунты стерлингов. Катя без умолку наяривала по-английски; англичане вежливо-сдержанно восхищались английскостью Катиного произношения. Иногда по вечерам Катю куда-то увозили английские молодые люди (Шерманы нас заверяли, что все будет олл райт, мальчики из хороших семей); о чем они допоздна говорили, так же неведомо мне, как о чем говорят на уик-эндах у английской королевы.

Во время пребывания в Англии пожилому главе семейства отводилась именно та роль, каковая и надлежит: спускаться со второго этажа из светелки к общему столу — к кофе, ленчу, ужину, — а после сидеть, водрузив на нос очки, читать газету «Гардиан», пописывать свои английские заметки; впечатления можно было почерпнуть тут же: за окном стрекотали английские скворцы; папочка — большой

любитель природы, в какой-то мере писатель-анималист. (Помню, в отзыве на одно из моих первых сочинений критик глубокомысленно заметил: «Горышин постиг душу зверя».) Впрочем, вполне возможно, что в саду у Шерманов стрекотали именно те самые скворцы, что летом вывели птенцов в скворечне напротив моей избы в деревне Нюрговичи, на Вепсской возвышенности. А зимовать улетели в Англию...

Чтобы утолить вдруг возникшую по ходу путевых заметок нужду в исповедальном самораскрытии (это еще от «исповедальной прозы», с которой я начинал путь в литературу), уведомлю читателей: я вернулся домой таким же, каким уехал, погруженным в бумаги, замыслы, несбыточные мечтания, в сладостно-слезную ауру одиночества, при экстерриториальности в семье. Едва ли откуда-нибудь явится перемена (ежели не вызреет в самом себе); с этим надо смириться, как и с тем, что... В дневниках Льва Троцкого, напечатанных в журнале «Знамя», я выделил и запомнил такую запись: «Самая неожиданная вещь, которая случается с человеком, это — старость». Ну ладно, поехали дальше.

В поезде Кельн-Остенде легко пишется еще и потому, что... никто за тобой не подсматривает, не лезет со знакомством, расспросами; если заглянет искоса украдкой, тотчас потупится, встретясь глазами. Каких-либо признаков любопытства к иностранцам, как у нас (мы же в Бельгии иностранцы), здесь незаметно. Все едущие как-то углублены в самих себя, не причастны к окружению. Даже обидно: посмотрите на нас, неужто не видите, откуда нас занесло, какие мы птицы... Что-то еще сохранилось в нашем подсознании от Маяковского: «Читайте, завидуйте: я — гражданин...» К девяностому году стало очевидно, что завидовать нечему, но поразиться преподанному нами человечеству уроку... О, да!

В Западной Германии (до объединения оставалось чуть меньше года) особенно бросается в глаза, после Восточной Германии, Польши, нашего отечества: человек доволен своей работой. В служебной роли — любой — индивид ничуть не меньше сознает-выражает свою значительность, чем, скажем, премьер-министр или босс. Насколько, к примеру, важная персона (*very important person*) кондуктор в поезде! Проводника нет, бригадира нет, но есть кондуктор — главный человек. У кондуктора имеется великолепный инструмент для компостирования

билетов — металлический, массивный, блестящий, солидно щелкающий при пробивании дырки. К поясу кондуктора привешены кожаные ножны для компостера...

На перегоне Эссен-Кельн в вагон вошел кондуктор, напоминающий внешностью, манерой поведения канцлера Коля: высокий, массивный, седовласый, в великолепной твидовой паре стального цвета... Впрочем, не стального, помягче, но какой-то отзвук стали раздался вместе с явлением кондуктора, его стального компостера... И белизна рубашки, глубокие тона джемпера, галстука... Когда мы не поняли немецкую речь кондуктора, он заговорил польски, когда и это до нас не дошло, выдал отборный английский. Владение английским языком вообще предрасполагает к самоуважению, особенно при правильном выговоре. Кондуктор был явно горд тем, что — кондуктор!

Солихалл, а, точнее, Дорридж. Дорридж переходит в Солихалл, не сразу переходит, постепенно; от Солихалла рукой подать до Бирмингема. Вот оно как... Но досюда надо было еще доехать, доплыть... Все вокзалы, вокзалы. На перроне тележки, тележки. Взял тележку, не едет. Что за чертовщина? Ага! Приподнял держалку-тормоз — поехала, нужен навык. Погрузим на тележку свои манатки... сзади тебе не наступит на пятки носильщик с телегой: «Па-аберегись!..»

В Остенде, ввечеру, ближе к полночи мы ждали парома (фэрри) на Дувр... В зале ожидания висел транспарант: «До встречи на борту». Фэрри запаздывал. Из двери, куда-то ведущей, какой-то очень домашней, с медной ручкой, выглянул симпатичный пожилой мореман во флотском кителе с погончиками, по-домашнему сказал: «К сожалению (ай эм сорри), на несколько минут запаздываем, сейчас поедем, сейчас поедем».

Через несколько минут все стали на бегущую вверх дорожку-эскалатор без ступеней. Рядом с широкой дорожкой для всех, чуть повыше, вровень с несомым тобой чемоданом, побежала узенькая дорожка для багажа. Эти две дорожки принесли нас, вместе с нашими манатками, в то место, где причал незаметно переходил в палубу плавающего средства — парома. Паром назывался «Принцесса Мария-Эсмералэда».

«Принцесса» постояла еще немного и пошла, о чем можно было заключить по едва ощутимому подрагиванию пола, по урчанию где-то в глубине чрева. Заработали бары, буфеты, ресторан самообслуживания (селф-сервис) со всеми видами еды и питья: лангетами, ростбифами, картошкой-фри с кетчупом, с виски, пивом «Карлсберг», с апельсинами, бананами, яблоками, румяными, полнощеками, как девушки в ФРГ, кофе и чаем. (Любимое восклицание за утренним чаем нашей хозяйки Джин Шерман: «Э найс кап ов ти-и» — прелестная чашка чая). На всех трех палубах в салонах полуспальные кресла с покатыми спинками (поспать за плаванье от Остенде до Дувра некогда, можно погрузиться лишь в полусон), столики с пепельницами, ящики с бурчащими экранами — компьютерные игры...

Паром «Принцесса Мария-Эсмеральда» плыл в полной темноте по проливу Ла-Манш... Два обалдую с длинными патлами играли в компьютерную игру, гогоча и прыгая вблизи того места, где пребывала наша семья. Сна не было, сжималось сердце — от невозможности стать таким, как все, на этом пароме: пойти в ресторан выпить пива «Карлсберг», закусить картошкой-фри с кетчупом; неясно было, чем встретит нас Альбион, как мы обойдемся нашей архискудной наличностью. Плывущие на «Принцессе» дети разных народов ощущали себя на равных с «Принцессой», то есть принцами, а я был нищий, как всякий советский за рубежом... Сидя в покойном кресле в салоне парома-фэрри, далеко за полночь по Гринвичу, я читал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, напечатанный в «Новом мире»; то, что рассказывал мне Александр Исаевич, я знал до него — каким-то подпочвенным, как вечная мерзлота, знанием. Снаружи на почве что-то произрастало, даже цвело, но стоило копнуть поглубже, — и зябла душа от вхождения в слой общего оледенения. И тут, на пароме, плывущим в зимнюю ночь по Ла-Маншу, я не мог стать седеньким, непричастным, светлоликим, с валютой в бумажнике туристом, каких можно встретить на всем земном шаре или у нас в Михайловском саду. Я оставался советским человеком, генетически печальным; местонахождение не отвлекало меня... от самого себя.

Здесь надо сделать остановку. Играет музыка в доме. Глянешь в окно, на дворе ни души. Только один дорриджский обыватель, в

желтых резиновых сапогах, моет машину, как собственную персону, добела. Растут большие деревья, похожие одновременно на кипарисы и на кедры. Может быть, это криптомерии, какие, помню, видел в Японии. Или секвойи? И еще платаны, как у нас в южных городах. Музыка — может быть, Шуберт. (Как говорят англичане, мэйби). Время предобеденное, то есть предленчевое; обедают-ужинают в Англии по вечерам...

Утром мы поехали к знакомому Шерманам человеку. Впрочем, они тут в Солихалле все знают друг друга, тем более, в Дорридже. Мы приехали к нему совершенно легко, без помех и дорожных происшествий, на машине Яна Шермана, белом «Воксхолле», модели «Карлтон». Воксхолл — это район Лондона, где размещены производства американского концерна «Дженерал-Моторс», с участием Англии и ФРГ... Знакомый человек оказался моего возраста, седовласый. У него ферма и мастерская. Он вытачивает из дерева — бука, ильма — разные штуки. «Штука» — по-польски, искусство. Ну вот, знакомый человек Шерманов, живущий где-то на стыке Дорриджа и Солихалла, занят искусством и фермерством. На прилегающей к дому поляне паслись его три коровы.

Дом этого художника-фермера, основание дома — четырехсотлетнего возраста. В первом этаже под потолком — низко, надо пригибать голову, проходя под балками. Балки просмоленные, черные от смолы. Хозяин сказал, что балки из дуба. Когда-то здесь была дубовая роща. Дубы рубили, свозили к морю, строили из них корабли. Корабли изживали свой век в морях, оказывались выброшенными на берег. Обломки кораблей увозили в Мидлэнд (Среднюю Англию еще зовут черной Англией, угольной, фабричной — блэк кантри), из них строили дома, то есть просмоленные мачты пускали на балки.

Хозяина дома, фермера, резчика по дереву, зовут Джон Поук. У него была дочь, двадцати трех лет, месяц назад умерла от рака. Незадолго до смерти она вышла замуж... Дочка Джона Поука любила кошек; после ее смерти отец с матерью сосредоточили свою приязнь на дочкиных кошках. На подворье, на ухоженном вечнозеленом дерне газонов, резвились четыре грациозных черно-белых кота.

От Джона Поука мы поехали в паб, там выпили пива, сначала с горчинкой, потом без горчинки — эля. Паб на берегу канала; канал

соединяет водным путем Солихалл со Стратфордом на Эйвоне, простирается далее в Лондон. На берегу канала посиживали два удильщика рыбы. Джин Шерман сказала, что их сын Кристофер в детстве любил удить рыбу; приходилось сидеть его караулить: мальчишки всегда готовы что-нибудь такое выкинуть. А девчонки...

Дочка Шерманов Кэт брала уроки верховой езды вот здесь же, в Дорридже... Иногда навстречу нам попадались юноши и девушки верхом на конях, на больших, сытых, белых с яблоками конях. Сидящий за рулем Ян Шерман отдавал им честь; наездники и наездницы отвечали ему тем же.

На стоянке у паба на асфальте крупно написано: «Кип клин». Соблюдай чистоту. На выездах с узкой дороги на широкую: «Гив вэй». Дай дорогу.

Кристофер учится в строительном институте в Ливерпуле, по воскресеньям он дома. У него есть в Дорридже подружка (герлфренд), полдня работает официанткой в пабе; потом они с Кристофером предаются радостям своей юной дружбы. У Кристофера есть в доме своя комната на втором этаже, там они проводят время с подружкой, выбирая те занятия, которые им по душе. Или куда-нибудь уносятся на маминой тачке — «Короне», кажется, итальянского производства. Подружка у Кристофера смуглая, с большими глазами и губами — мулатка. Джин сказала, что подружка Кристофера стирает ему рубашки. Пока Кристофер учился в школе в Солихалле, он тоже прирабатывал мойщиком посуды в пабе.

Кэт живет в Лондоне, учится в колледже на журналистку. Она снимает квартиру-студию с отдельным входом — вниз по лестнице, в полуподвал (мы навестили Кэт, спускались по лестнице), с окнами в нишах-амбразурах, со стеклянной дверью во внутренний двор-лужайку. Квартиру Кэт снимает на пару с подругой; платить за нее надо 35 фунтов в неделю... При наших наличных средствах, нашей семье, мы смогли бы прожить в такой квартире пять недель... если бы питались только сельдереем, подаренным мистером Поуком... Родители доплачивают Кэт за студию-квартиру, но в основном, она зарабатывает сама; уже напечатала несколько статей. Ее специализация в журналистике — мода; она пишет на тему моды, для журналов мод.

С подругой-совладелицей квартиры-студии у Кэт бывают размолвки, поскольку мода — арена соперничества, отнюдь не

совпадения вкусов.

Дом у Шерманов в Дорридже... Это обыкновенный английский семейный дом, при среднем достатке главы семьи (у Яна, как мы узнаем, повыше среднего). Даже в Лондоне 60% обывателей проживают в собственных домах... У достаточного хозяина на втором этаже спален побольше, у стесненного поменьше, тоже самое и касательно ванных-туалетных. Англичане, как мы знаем, консервативны в обычаях, привычках бытования: душ в английском семейном доме (например, в доме Шерманов) не прижился, нет смесителей горячей воды с холодной; из одного крана течет почти кипяток, из другого вода ледяная; нужная температура достигается смешиванием — в ванне или раковине; дырку заткнул затычкой, смешал и полощись. Горячую воду экономят: то пустят, то отключат; существует какое-то реле для соблюдения расхода. По моему небольшому опыту знаю: горячая вода вырубается именно в тот момент, когда ты намылился, время ополоснуться, а водичка студеная — бр-рр!

В доме Шерманов три спальных комнаты на втором этаже, две просторные ванные окнами в сад, с подогретыми полами, укрытыми ворсистой синтетикой, с махровыми простынями на блестящих вешалках. В такую ванную (не в лоханку, а в помещение) заберешься — и полетит душа твоя в рай... Ванная есть и на первом этаже.

Первый этаж — для активной семейной жизни, для бодрствования, что типично для англичан — быть бодрыми (но ночами, приняв ванну, крепко спать наверху). Вошел в дом с улицы — оказался в просторной прихожей-сенях-вестибюле, с деревянной лесенкой наверх, застеленной ковровой дорожкой, с дверями в гостиную и кухню. Каждый день, то есть затемно утром (зима, светает поздно) можно услышать, как падает на пол просунутая снаружи в щель почта: «Гардиан», увесистая, с приложением, и еще что-нибудь. Откроешь дверь на улицу Уоррен Драйв, за порогом, уложены на лавочке, потребные на день молочные продукты (вечером привезут цыплят, рыбу).

В гостиной есть камин, но уголь в нем не зажигают; огонь от подведенного газа лижет декоративные куски антрацита. Топление каминов углем вызывало тот самый смог, которым нас пугали в отрочестве и юности: в Англии, мол, не продохнешь от смога, а у нас

благодать. Топить углем не то чтобы запретили (в некоторых домах, я видел, топят), но не рекомендуют. Посреди гостиной круглый стол; можно сидеть у стола на диване или в кожаных, прохладно-покойных креслах. Сидеть и читать «Гардиан», что я делаю по утрам, до завтрака.

Чтение в этой газете — на любой вкус, любое состояние духа. В приложении к «Гардиан», отстраненном от политики, прочел, например, о том... О чем бы вы думали? Никак не догадаетесь. Целая полоса наставляет новобрачных: беременность женщины (прэгнанси) никак не помеха для сексуальных сношений, напротив, женщина предрасположена, возбуждена... И это способствует нормальному развитию плода... Познания такого рода совершенно для меня бесполезны, но чтения не бросаю, почему-то любопытно, хотя бы задним числом.

Обрисовать все предметы в гостиной дома в Средней Англии не возьмусь (не упомянул, да и бумаги не напасешься); в доме Шерманов гостиная служит и кабинетом главе семьи: стол-полка Яна в углу, с деловыми бумагами, книгами, свидетельствующими о разносторонних интересах хозяина... Из гостиной войдем в столовую, сядем за крепко стоящий семейный стол под накрахмаленной белой скатертью... Но еще не время садиться, в этом доме все точно по часам... В кухне, с электрической плитой, мраморным прилавком с встроенной никелированной раковиной, холодильником размером с мавзолей... столь много всего, что мои глаза, однажды разбежавшись, так и не остановились на чем-либо отдельно взятом. Только знаю, как сварить кофе, где хлеб, масло, сыр, ветчина (хам), а если захочу, то и банка йоркширского пива... Это когда все уходит из дома, оставляют меня одного — о! эта сладость неподотчетности, уединения, хотя бы и в чужом доме. В чужом еще и поважнее...

Из кухни можно пройти в прачечную и мастерскую, принадлежащую Джин. Так почти в каждом доме, где мы побывали: хозяйка что-нибудь мастерит; тут ее хобби, средство самоосуществления, эмансипации. У Джин Шерман в мастерской печатный станок; она печатает рождественские поздравительные открытки, визитные карточки (и мне напечатала), что-нибудь еще. В этом бизнес Джин, ее вклад в семейный бюджет.

Из дома Шерманов есть два выхода: на улицу Уоррен Драйв и в собственный садик, как у всех в Дорридже, я думаю, не более трех соток, с лужайкой, с подстриженной травой, с упругим, как мат, дерном, на котором можно прыгать, возлежать, не нанося ущерба травяному покрову, с грядками, на которых выращивают по вкусу укроп, редиску, петрушку, спаржу, брюссельскую капусту. Картошку (потэйтос) не сажают, ее покупают в торговом центре — шопинге, всегда молодую, привезенную из той части света, где картошка только что поспела.

Впрочем, ни один сад в Дорридже (очевидно, и во всей Англии) не повторяет другой, в каждом своя изюминка. После того как мы побывали в гостях у соседей Шерманов Флетчеров, я знаю, что там есть крохотный пруд, в нем плавают рыбки; окно пруда затянуто металлической позолоченной сеткой, дабы в пруд не свалились две собачонки, одинаковые, беззлобно лающие, на коротеньких лапках, с провисшими туловами, густошерстные. У пруда под ивами поставлены ажурные белые кресла — для медитаций; на постаменте горделивый бюст Роберта Бернса. Некоторая изысканность убранства в саду Флетчеров, очевидно, проистекает из вкуса хозяйки дома, прелестной (вери найс) маленькой женщины, делающей глазки, Риты Флетчер, ну и, понятно, из достатка хозяина: Барри Флетчер — бирмингемский предприниматель, глава фирмы, торгующей запасными частями к автомобилям, — «Дом моториста» («Хоум ов моторист»).

Шерманы с Флетчерами на короткой ноге, в особенности Джин и Рита, что определило и отношение Флетчеров к нам.

Наш любезный хозяин мистер Ян Шерман работает в Бирмингеме юрисконсультантом в крупном промышленном концерне по производству станков с программным управлением. (Однажды Ян показал нам свой офис на окраине Бирмингема — громадина!) Ян первым поднимается в доме, выпивает свой кофе, садится в машину, уезжает к восьми на работу. Возвращается после семи вечера осунувшийся, с заострившимися скулами, брюки становятся ему как бы широковаты: видно, что человеку деньги платят не зря. Дома хозяин облачается в передник, помогает жене приготовить ужин, накрыть на стол, за столом потчует гостей, подливает вино. Вечерами он слушает музыку (вместе с Джин), любит Моцарта, Шостаковича, Прокофьева.

Телевизор в доме Шерманов включают редко, может быть, из экономии или из несовпадения репертуара с запросом. Для нас включат последние известия, на экране промелькнут знакомые лица: Горбачев, Рыжков, Ельцин, Евтушенко, Сахаров, Коротич... В английском парламенте симпатяга рыжий Киннок о чем-нибудь поспорит с железной леди Тэтчер — и вырубят. На круглый стол в гостиной подадут кофе, виски, шерри, бренди: дом наполняется музыкой, в доме не курят, сидят в глубоких креслах, предаются кайфу. Это если не назначен прием гостей, не запланированы визиты, не куплены билеты на концерт; уик-энд требует полной самоотдачи; это — семейный праздник, с демонстрацией всего, чем богаты хозяйева, на что они способны...

Дом Шерманов привлекателен еще и тем, что в нем много смеются (может быть, смешливость в какой-то связи с материальным достатком; этот аспект не изучен); смеются безудержно, изнутри, без оглядки, что очень заметно на фоне нашей взвешенности, если не сказать подавленности. Свойство английского ума — вылуцивать смешное из, казалось бы, ничего не значащего, просто так кем-нибудь ляпнутого. Однажды я пошел в шопинг (на улицах Дорриджа никого не повстречал; никто не ходит, все ездят). На фруктово-овощном лотке увидел превосходную черешню (черри); ее полнокровность, налитость, глянцевая бордовость прямо-таки ошеломили меня: на дворе-то декабрь. Надо сообразить, почем фунт товара, сколько фунтов-паундов надо отдать; в Англии все измеряется фунтами — и черешня (черри) и благосостояние (просперити). Я взял фунт черри, заплатил фунт (паунд) сорок пять пенсов — в Англии в канун Рождества черешня не только ласкает взор, но и кусается). Принес рождественский подарок домой, на Уоррен Драйв, 12. Джин спросила, откуда черешня. Я ответил, что, вестимо, из лавочки. Смешливая Джин залилась своим звонким английским смехом. Я не мог понять, что смешного в том, что я купил в лавочке фунт черешни. Джин объяснила, что спросила о другом: откуда? — из Израиля, Алжира, Испании? Вот вам и английский юмор, для которого наша азиатчина — неистоцимый повод от души повеселиться.

Трава на лужайках зелена, там и тут цветут розы. Идешь по улице Дорриджа (ни одной бабушки на завалинке; привезут детей из школы,

— улица на короткое время оживет), закуриваешь и тотчас задаешься вопросом, куда кинуть окурок: кинуть его решительно некуда; во всем Дорридже ни одного брошенного окурка. В конце концов находишь решетку люка...

Стволы у высоко в небо выросших сосен обвиты плющом...

Если высунуть нос за околицу Дорриджа, на выгонах у дороги пасутся все как одна белесоватые овцы (шип). На березах не облетели, даже не пожелтели, а только малость сморщились листья. Есть золотые плакучие ивы, дубы с желудевого цвета листвой.

Раз я увидел в окно двух прилетевших сорок, таких, как у нас, белобоких, зобастых; потрещали о чем-то, без малейших признаков английского акцента.

По каналу близ дома Джона Поука плыли два не то серых гуся, не то черных лебедя, с синеперыми шеями.

Над оградой одной из ферм возвышалась сизо-серебристая долгая шея с маленькой ушастой головкой над ней, с кротким выражением лица, какое бывает у отрока-переростка; фермер выращивал ламу.

Всюду летали голуби и чайки. На вершину ивы слетелась стая дроздов. В воздухе ровное, постоянное в одной тональности без диссонансов треньканье всяческих птиц.

Вчера я пошутил неудачно, у нас бы сошло, а в Англии не годится...

Глядя в лист с программой, составленной на все время нашего пребывания, Джин сказала, что завтра нам предстоит встреча с двадцатью одним человеком, все придут сюда, в дом Шерманов. Я не удержался, пошутил: «Все сразу или выстроятся в очередь?» Джин серьезно посмотрела на меня, сказала, что не надо быть циничным. И правда, экстраполяция нашей очереди на здешнее благорасположение друг к другу неуместна, цинична. Шерманы серьезные, глубокие, прямодушные люди.

Вечером слушали музыку — мессу.

Джин сказала, что человеку хочется быть с природой, в природе. Здесь, в Солихалле, нет настоящей природы, это суть пригород Бирмингема, но есть иллюзия (иллюжн). Можно уединиться, отрешиться, достаточно тишины... Но так же надо быть и в

современном городе, это тоже естественная потребность. Одно переливается в другое, важно соблюсти гармоническую середину.

Центром вчерашнего дня, гвоздем программы стал обед. Собственно, это был ленч, но и обед тоже, после трех часов пополудни. В английских семьях воскресный обед собирает к столу всех чад и домочадцев. Кристофер приехал из Ливерпуля, а Кэт не смогла, у нее экзамен. Обед подавался изобильный: салат из помидоров и рыба, это сперва; рыба красная — лосось, пожалуй, даже и семга, по нежности, тает во рту (растаяла). Ян сказал, что рыба из Шотландии, не выращенная в пруду, пойманная в океане. Потом большой кусок запеченной свинины — ростбиф, с разнообразными гарнирами: чипсами, тыквой, горохом, с соусом. Что еще подавали, о том осталась почти неосязаемая приятность, как пойманный взгляд красотики в толпе. Обед завершился десертом: кому чай, кому кофе, шоколадный торт, специально испеченный воскресный яблочный пудинг с кремом. К обеду подавалось белое вино, к кофе бренди, ликеры etc...

Почему-то пришло на ум, что русское «сбрендить» произошло от английского «бренди»: примешь бренди за воротник и что-нибудь сбрендишь...

О сладострастие еды!  
О ритуальный культ обжорства!  
Накрытый стол — без суеты.  
Гостеприимство без притворства...

О, старой Англии уклад —  
Разбор ножей, сиянье ложек...  
Дымится в чашках шоколад,  
Семейный пудинг непреложен...

Сегодня понедельник. Ян уехал на службу. Джин с моими девочками в Солихалл, в картинную галерею, устраивать там выставку работ художницы Эвелины Соловьевой; я один в доме на Уоррен

Драйв. Сажусь в углу гостиной (у нас почему-то в ходу, даже в устах президента, подлое словечко «присаживайтесь») за конторку Яна, где его книги и бумаги. Книги больше поэтические; в свободное от службы и домашних занятий время Ян и сам пишет стихи. (Землю попашет, попишет стихи). Открываю сборник африканской поэзии, погружаюсь в английские фонемы, морфемы, из которых надо вылущить простой смысл: африканская поэзия фольклорна, о простых изначальных вещах. По-видимому, это любимая книга Яна: лежит против стула, на котором Ян сидит.

Беру словарь (англо-русский, русско-английский словари тоже у Яна на рабочем месте), предаюсь всегда почему-то успокаивающему, отвлекающему от обыденности труду перевода. Стихотворение называется «Наша красно-белая (ред-уайт) молочная корова».

Хвала! О, хвала нашей красно-белой корове!  
Когда она обращает ко мне свое мычание,  
у меня теплеет на душе.  
Она мычит, и лес отзывается эхом. О, радость!  
Я горжусь нашей красно-белой коровой,  
ее доверие ко мне поднимает меня в собственных глазах.  
Без нее опустеет наш крааль.  
Запустение воцарится на пастбище и повсюду.  
Тыквенные сосуды из-под молока заполнят мухи.  
Уйдет отрада из нашего дома, когда не станет ее.  
Когда она была с нами, бабушка приносила  
горячие молочные лепешки, будто привет от неё.  
Когда она была с нами, в тыквенных сосудах  
пенилось молоко.  
Ее красота вызывала у всех улыбку,  
как красота набедренной повязки нашего дедушки.  
Своим мычанием она говорила,  
что время дойки, вымя полно молока.  
Так воспитанное дитя просится на горшок.  
Не было нужды привязывать ее на дойку.  
Когда поливал дождь, я прятался у нее под брюхом.  
Когда я был голоден, я брал в рот сосок ее вымени

и насыщался.

Она умерла, я храню ее рога и шкуру,  
чтобы не забыть о ней.

При переводе я малость путался в английских временах, где паст индефинит, где презент континиус...

Доведись русскому деревенскому мальчику (или девочке) сложить гимн своей корове, он сказал бы то же, что африканский мальчик (девочка). Разве что вместо дедушкиной набедренной повязки как образец красоты выступило бы другое одеяние, скажем, тулуп.

Этого рода поэзия представляет интерес для технократического интеллигента в Англии, выше среднего достатка. Кстати, Шерманы неоднократно проводили свой отпуск (холидейз) в Африке. На будущий год приедут к нам в Россию.

Затем, по программе, предстояла встреча с читателями библиотеки городка Кенилворта, тоже входящего в ожерелье пригородов Бирмингема. Дело в том, что в кенилвортской библиотеке активно работает кружок по изучению русской литературы; в оргкомитете кружка состоит Джин Шерман. Они только что прошли «Анну Каренину» (в гостиной на конторке Джин лежит прекрасно изданная «Анна Каренина», с «Незнакомкой» Крамского на обложке).

Обсуждение романа приурочили к некалендарному появлению в Средней Англии русского писателя (у Джин все так и было запланировано). Утром сели в «Корону» Джин, мигом прикатили в Кенилворт... Здешняя библиотека похожа на библиотеку в каком-нибудь провинциальном городе, ну, скажем, в Тихвине, и выражения лиц у читателей (в основном, читательниц) те же, что у нас, чуть восторженные, взыскующие откровения за пределом обыденности. Это я говорю об общем впечатлении, разумеется, есть выбор. На встречу со мной пришли, в основном, пожилые люди, такие, как я, что понятно: будень, рабочее время. Разговор у нас пошел через посредство переводчицы Кати, моей младшей дочери, моего солнышка — так она чешет по-английски, любо-дорого.

Кенилвортцы искренно радовались каждой крупнице юмора в моей речи (у меня и мысли не было их рассмешить, при моем тугодумстве), что-то улавливали, смеялись, хлопали в ладоши. Ну, например, спросили, как это нам удалось, то есть не нам, а Горбачеву, столько всего наломать, наворочать за короткое время. Я совершенно искренно ответил, что мы и сами удивляемся. Все дружно посмеялись, похлопали в ладоши. Англичан хлебом не корми, только дай им похихикать. Да они хлеба почти и не едят, пробавляются смехом.

Однако все по порядку. Вначале я прочел короткий спич по-английски:

— Позвольте мне сказать несколько слов по-английски. Я их написал по-русски, а моя дочь Катя перевела. Она тоже здесь с нами, вот она. Так что я понимаю, что вам говорю.

В этом месте спича англичане посмеялись.

— Прошу прощения за плохое произношение... (Ай эм сорри фор май прононсэйшн.)

По окончании встречи ко мне подошел кенилвортский мужик средних лет, крепкого телосложения, с блистательными без щербинки зубами (такие зубы в Англии, кажется, даже у новорожденных и ветхих старцев), похлопал меня по плечу, сказал: «Гуд инглиш!», то есть похвалил меня за мой английский. Я обрадовался похвале, быть может, не меньше, чем Лев Толстой, когда поставил последнюю точку в «Анне Карениной». Радость — мгновенное, импульсивное чувство, зачастую несоразмерное с побудившей ее причиной.

На встрече у меня спросили: если бы Анна Каренина жила в советское время, ей бы суд дал развод? Я заверил прилежных моих слушателей, что суд бы развел, но счастливой при этом Анна едва ли бы стала. Все понимающе закивали.

Одна кенилвортка истово требовала тотального запрета на автомобили: машины замучили англичан. Я ей возразил, что мы в Советском Союзе еще не наездились, нам еще хочется покататься, у нас еще заря автомобилестроения. Кенилвортцы неодобрительно зашумели: здоровье для них много выше, чем катанье на машине; и они-таки накатались.

Утром у Джин не завелась ее беленькая машина, обычно послушная. Джин сказала: «Нужна одна такая штучка». Она побежала

к соседу. Сосед приехал на японском лендровере. Тут выяснилось, что Джин не знает, как поднять капот на своей «Короне». Сосед поднял капот, достал из багажника два провода с зажимами на каждом конце, присоединил клеммы аккумулятора в машине Джин к клеммам своего аккумулятора; мотор у Джин завелся. Джин сказала, что вчера вечером забыла выключить подфарники; аккумулятор за ночь сел. Мы поехали в Бирмингем, Джин не включала вентилятор, лобовое стекло запотевало, но все обошлось. Встречные, чуя неладное, подавались влево, уступали дорогу; Джин вскрикивала: «Сорри!» Никто не мог ее услышать, но все понимали по движению ее губ, кивали в ответ. Никто не матерился, как заведено у нас, когда баба за рулем да еще делает ошибки.

Я почему-то думал о постороннем, визуальное восприятие не включалось, в мозгу свербила строка: «Накину на плечи пиджак — и уеду однажды в Пенджаб...». Хожение по Бирмингему задавало ритм, нашептывало сочетания слов с подспудным смыслом:

Ушли миры. Молчат века.  
Минули страсти — под сурдинку.  
Недвижна времени река —  
Смени пластинку!

В последний раз я был в Бирмингеме тринадцать лет тому назад, в составе писательской туристической группы...

Тут как раз случился день рождения поэтессы Нины Королевой, группа собрала средства, препоручила мне купить Нине цветы. Рано утром я вышел из отеля, оказался в совершенно пустом, чем-то мне неизвестным пахнущем городе. Разумеется, пахло углем, угольным дымом: еще камины в Англии топили, как топят печи у нас, — для тепла. Нигде ничем не торговали, даже рынок, который я все же нашел, оказался закрытым. После выяснилось, что воскресенье — неторговый в Бирмингеме день (мы пробыли тогда в этом городе четверо суток). Я обходил квартал за кварталом, прикинул к витринам с неопущенными жалюзи... В нише одной из витрин, по эту сторону стекла, стоял

высокий, без признаков жизни негр в черном костюме, с закрытыми глазами. Я невольно остановился против негра, стараясь разглядеть, кто он таков, манекен или Божия тварь. Черный человек не реагировал на мое к нему любопытство. Движимый каким-то детским порывом потрогать, я протянул руку, пощекотал негра за подбородок... Негр вздрогнул, размежил веки... Я кинулся наутек...

Нине Королевой мы тогда подарили пластинку Леонида Утесова, привезенную кем-то как подарочный сувенир. Вся группа расписалась на пластинке; обозначили место дарения: Бирмингем...

По телевизору в очередной раз передавали диспут Тэтчер с Кинноком. Джин сказала, что терпеть не может Тэтчер: в Бирмингеме сколько бездомных, дети ночуют на панели; в Солихалле закрыли госпиталь; школы пустуют, потому что нет учителей, так мало им платят. Джин сказала, что она лейбористка.

Как-то у нас спросили, что значит русское слово богатырь; в английском ему нет соответствия. Рыцарь — это другое. В русско-английском словаре богатырь переводится: хиэроу; стронг ман; в обратном переводе: герой, сильный человек. Но разве же в этом дело? Разве Илья Муромец, Добрыня Никитич были просто героями, сильными мужчинами? Ведь они же сосредоточили в себе народную мечту о героизме, о силе как производном от добра. И сколько поэзии в самом этом имени: богатырь, — чего-то очень русского, от бога и от богатства...

У старших Шерманов сохраняется некое умиление перед всем русским, как они его себе представляют; от русских ждут какого-нибудь чуда, всегда, впрочем, соотнесенного с собственным интересом. Раз мы с Джин болтали о том, о сем, как у вас, как у нас; незаметно — и привычно для себя — я задудел в общепринятую у нас дуду: стал плакаться на наши недостатки, неустройства, обиды. Вот русский народ... всю страну на своем горбу тянет, а живется ему чуть не хуже всех в Советском Союзе... И все его в чем-то обвиняют, все русский виноват: и такой, и сякой, и оккупант и шовинист-империалист, и антисемит, и пьяница, и бездельник, и Сталина допустил, и себя уронил...

Джин внимательно выслушала и сказала: «Ваш народ заключает в себе большие богатства. Они еще пригодятся всем нам».

Я будто ополоснулся холодной водой, стал видеть не только вкусь, но и вдаль.

Джин сказала, что в Дорридже есть две итальянки, уже семнадцать лет изучают русский язык и не продвинулись в его изучении ни на йоту.

Русский язык в Дорридже совершенно не нужен, бесполезен, но упорство и постоянство в его изучении вполне самодостаточно.

Джин сказала, что по четвергам играет в теннис. У нее три подруги по теннису, одна из них подслеповата, носит очки и никак не может углядеть, где мячик, по ту сторону сетки или по эту...

Сама Джин уже двенадцать лет изучает итальянский язык.

В ее домашней типографии есть все необходимое для выпуска готовой продукции на продажу: шрифты, наборная касса, копировальный аппарат, станочек, воспроизводящий рисунок с пластика на бумаге. И еще Джин упаковывает листы ватмана — для шопинга. Это ее маленький бизнес.

Ее профессия — домохозяйка; такова основная, ведущая профессия большинства леди в Дорридже. Джин вырастила детей, теперь ведет дом, кормит, обихаживает Яна. Работа у Яна очень нервная, связанная с противостоянием интересов предпринимательства (это я говорю со слов Джин). К тому же возраст Яна предпенсионный, его место готовы занять молодые, растущие. При большой затрате сил и нервных клеток в служебное время, Ян особо нуждается в целительно милой домашности, в друге-жене. Дом в Дорридже — крепость Яна; домоправительница — абсолют преданности, нерушимости дома.

Улучив свободную минуту в череде успокоительных домашних хлопот, Ян и Джин садятся к столу в гостиной, выпивают по рюмочке шерри, что-то обсуждают...

Раз в неделю Ян ездит в Ковентри, берет там уроки русского языка. Он изучает русский язык уже три года, но, судя по всему, еще не сложил, не произнес ни одной простейшей фразы. Утром он говорит нам: «Доброе утро», вечером «Спокойной ночи» и еще знает «Спасибо». Больше ничего по-русски я от Яна не слышал. (Забегая вперед, скажу, что на будущий год в гостях у нас в Ленинграде Ян

изрядно разговорится). Учительница у Яна в Ковентри полька Барбара, толстая, пожилая, незамужняя дама. Перед войной, в 1940 году, ее, трехлетнюю, с родителями увезли в Сибирь. О том времени Барбара почти ничего не запомнила. В войну ее отца взяли в армию Андерса; через Иран семья перебралась в Англию; здесь прижилась.

По-английски Барбара говорит непрестанно, как заведенная машина, с немецкой картавостью в звуке «р». По-русски говорит с простодушным, откровенным его незнанием. Открытием для нее явилось то, что сливы и сливки не одно и то же. Произнесенное кем-то слово мясорубка вызвало в ней прилив недоумения: что это такое?

Съев обильный шермановский ужин, обследовав последнюю косточку, Барбара сказала: «Я много скушала, мне трудно встать». Она просидела до половины третьего ночи, все время о чем-то говоря. Наконец уехала в Ковентри на своей маленькой машинке мышинового цвета. Она купила у моей жены офорт с цветами за 50 фунтов.

После Барбары все ушли наверх спать — разбитыми.

Сегодня вечером мы приглашены в гости к Рите и Барри Флетчер, на параллельную Уоррен Драйв улицу, в их особняк. Мы уже с ними знакомы, представлены им на приеме у наших хозяев Шерманов...

Кстати, что такое прием в английском доме?.. Шерманы принимают на широкую ногу, загодя завозят где-то взятые напрокат бокалы-фужеры, чайно-кофейные сервизы, множество бутылок с вином... Гостей приглашена тьма-тьмущая: есть повод — гвоздь программы — русские в Дорридже, то есть мы; нас будут показывать тем, кого выбрала Джин. (На один из приемов к Шерманам пригласили всех участников встречи в библиотеке в Кенилворте).

К приему готовятся исподволь, задолго, все предусматривая-просчитывая. Наконец остается раскупорить бутылки — это работа Яна; пить будем сухое белое вино. Выстраиваются на столах бокалы-фужеры, приносятся вазы с их закусками не назовешь — так, на один зубок орешки-соломки. Джин готовит чай-кофе, укутывает чайники-кофейники салопами. Эвелина с Катей развешивают на стене офорты и литографии — вернисаж. Я слоняюсь без дела из угла в угол... Раздается первый звонок — громкие голоса в передней, наиболее интонации. Приходят больше парами; я заметил, некоторые пары на протяжении всего вечера так и остаются отдельно от всех,

довольствуются друг другом, о чем-то живо беседуют, как-будто давно не виделись. Хотя приехали в одной машине.

Мы в центре внимания — гвоздь программы, — но это вовсе не значит, что хоть кто-нибудь смотрит на нас, как баран на новые ворота, или что нас дергают расспросами. Ничуть не бывало, все идет, как заведено в Англии на приемах в частных (я думаю, и в казенных) домах, сдержанно-достойно, неторопливо, на одной ноте жужжания голосов.

Но на приеме в английском доме есть тонкость, я ее не сразу уловил: ты можешь остаться незамеченным-неприкаянным, даже будучи гвоздем программы; над предъявить себя обществу с какой-нибудь интересной ему стороны, не ждать спроса на собственную персону; будь спок, не дождешься. Все потопчутся, пригубят вино, поспикают о чем-нибудь своем и разойдутся, а ты останешься не востребуемым. За тобой наблюдают, хотя и не подают вида, ждут от тебя инициативы, твоего первого шага навстречу. Зато стоит предложить себя, первым заговорить, и на тебя хлынет встречный искренний интерес. В Англии уважают активность, открытость...

Сообразив, что к чему, я обыкновенно приступал к знакомству-беседе с того, что... Вначале показывал экологический фотоальбом «Ладога. Пока не поздно», с моим текстом. Сразу находилось общеизвестное: война, блокада Ленинграда, Дорога жизни, как нынче с водой, как с рыбой, дамба в Невской губе... С этого начинали, шли, куда нам хотелось. Расставались, вполне довольные друг другом. Понятно, что обойти за вечер с альбомом всю собравшуюся в доме компанию я не мог; большую часть гостей брала на себя Катя, привлекая их внимание к маминому вернисажу...

Вино пригублялось, оставлялось недопитым. Кофе пах как надлежит пахнуть кофе; от чая припахивало бергамотом. Курящих было на всех приемах нас двое: я и миллионер Барри Флетчер...

Приемы накатывали волнами на дом Шерманов с ненарушимой цикличностью, без сбоев. По окончании каждого из приемов мы с Яном выпивали виски, все другие кому чего хотелось — в нашем тесном семейном (двухсемейном) кругу у камина.

У Флетчеров не прием — так, дружеская вечеринка-посиделка. Барри Флетчер — бирмингемский предприниматель, небольшого росточка, крепенький, чернявый, поворотливый, малость под Чарли

Чаплина; Рита — молодящаяся леди-прелестница, строящая глазки, восторженно взмахивающая ручками.

И вот мы в доме Барри и Риты Флетчер (Джин нас завезла и укатила, у них с Яном сегодня билеты на концерт), нас вводят в гостиную — главный апартамент в доме: множество бархата, бронзы, блестящих поверхностей, кресел белой кожи; в каждое можно унырнуть и не всплыть. Передняя стена гостиной — зеркальное окно в зимний сад, собственно, тоже гостиную, всю остекленную, с кущами каких-то райских растений. Из зимнего сада есть вход в сад вечно летний, вечно зеленый, уже отчасти описанный мной. Повсюду звучит музыка, самая нежно-возвышенная; выше, нежнее, еще не сочинена. Музыка в доме Флетчеров всепроникающая, проливающаяся с горных высот.

Рита приносит серебряный поднос, на нем крохотные сэндвичи с лососиной, соленые орешки, печенье. Вино тоже подается в серебряных высоких бокалах.

Пока еще нет хозяина, но вот он появился, быстро всех оглядел, куда-то убежал, прибежал, закурил. Барри сказал, что когда у него удачная сделка, то он в настроении, а когда не повезет, он нахмушивается. Сегодня у него состоялась хорошая сделка, он весел.

Барри Флетчер настроен радикально, решительно за капитализм — дома, у нас, повсюду!

Мы еще выпиваем германского божественного вина из серебряных сосудов. Барри куда-то убегает, вдруг приносит две шапки: на одной из них голова медведя в натуральную величину, на другой голова волка. Барри надевает на мою голову медведя, на свою — волка, приносит фотоаппарат, устанавливает, заводит его таким образом, чтобы он мог снять нас двоих, медведя и волка. Вскоре после вспышки из аппарата выходит наружу готовая цветная карточка. Полежит, посохнет — и вот он я, о двух головах, моей и медвежьей, рядом со мною предприниматель Барри Флетчер, тоже о двух головах. Вот вам и волчий оскал капитализма...

Барри взбегает вверх по лестнице, застеленной малиновым ковром, приносит шапки с заячьей головой и с лисьей. Он напяливает зверомордые шапки на Катю и Эвелину, фотографирует их. Приносит суперкамеру из сверхлегкого металла, говорит, что таких камер, японских, всего три тысячи штук. Одна из трех тысяч — вот она, ему

принадлежит, Барри Флетчеру, что эта камера снимает чуть ли не сама собою: выберет, что снять, самонастроится, снимет и выдаст позитив, даже не надо ни на что нажимать.

Вторя мужу (подпевая вторым голосом), Рита сообщает, что у них есть вилла на юге Франции, в Сан-Рафаэле — вери найс!

Барри увлекает нас вверх в спальню с широким супружеским ложем... Он все больше возбуждается, приходит в ажиотаж. Выгребает из шкафа множество шапок, примеряет их на наши и на свою головы. Есть у Барри колпак якобинцев, конфедератка времен Гражданской войны в Соединенных Штатах — всего полсотни головных уборов разных веков и народов, полный шапочный разбор.

Над ложем Барри и Риты прикноплены портреты великих комиков мира, с Чарли Чаплиным во главе. Комики улыбаются, корчат рожи. Барри достает из недр своего хранилища уникамов резиновое дитя, которое, если засунуть внутрь палец, умеет уморительно морщиться, плакать, что вызывает в Барри полное сочувствие. Таков мир маленьких радостей и утех бирмингемского капиталиста.

Допиваем внизу вино. Барри говорит, что он бы выпил как следует, сегодня был удачный день, но в ночь ему надо садиться за руль, съездить в Италию. До моего размягченного сознания доходит, что съездить из Бирмингема в Италию все равно, что у нас... Нет, не все равно, у нас не разгонишься, столько на наших дорогах выбоин и колдобин.

Вообще, ни один англичанин, с которыми довелось сесть за стол, не выпил как следует, чтобы, например, обняться, прослезиться, вместе спеть какую-нибудь общеизвестную песню: «Путь далекий до Типперэри» или «Очи черные». Всякий раз находилась у англичанина веская причина, чтобы ему как следует не выпивать.

Прощаемся с Барри и Ритой, расцеловываемся, обещаемся увидеться еще где-нибудь в этом мире. Где-нибудь...

Как это ни странно, мы все еще в Англии, в Дорридже; облака на небе, зеленая трава; черные дрозды с длинными хвостами, желтыми клювами.

На днях куда-то поедет, в Озерный край (Лэйк дикстрит). Все малость нездоровы ( «Гардиан» пишет о пришествии в Англию гриппа).

Утром я сказал Джин, что видел ночью ужасный сон. Джин тотчас написала на бумажке: nightmare — ночной кошмар. Это она ненавязчиво преподает мне английский язык. Спросила, что я читал на ночь. Я ответил: «Архипелаг ГУЛАГ». Джин развела руками, выговорила-сыграла на губах английскую фразу, в том смысле, что иначе и быть не могло, если читать на сон грядущий такие вещи.

Вечером был в гостях у Скоттов, Брайана и Филиды, здесь неподалеку, в Дорридже. Старички-пенсионеры. Впрочем, не знаю, платят ли пенсию домохозяйкам; Филида — домохозяйка. Надо будет спросить. Брайан был финансистом в Бирмингеме. Что значит быть финансистом, можно узнать из одноименного романа Драйзера; когда-то я его читал, даже проходил по программе филфака — и начисто забыл. Про Бирмингем Брайан сказал, что это город некрасивый, но в нем побольше возможностей, чем в других местах, для самоосуществления, хоть в бизнесе, хоть в образованности или в искусстве.

В молодости, семнадцати лет, Брайан Скотт попал на войну, воевал в Нормандии, Бельгии, дошел до Эльбы, но с советскими не встретился, поскольку воевал в артиллерии, находился чуть позади пехоты.

Ели мелко нарезанную рыбу с картошкой, под соусом, пили белое вино. Немножко попутешествовали по карте Советского Союза, очевидно, приготовленной к нашему визиту, нашли где, какие у нас нанесены уроны природе. Об этом Скотты знают из газет, телевидения, это им близко. Жена Брайана Филида показывала свои пастели, акварели, темперы: цветы в саду, еще что-нибудь красивое, писаное с натуры.

Вечер у Скоттов получился уютный. Сам Скотт привез нас на Уоррен Драйв, 12.

Джин сказала, что сегодня пятница — уик-энд... Очевидно, Ян вечером пойдет на собрание ячейки лейбористской партии...

Уик-энд — событие в каждом доме, в Англии все так его ждут; в конце недели собираются вместе близкие и родные. А на партийные собрания... мужчины ходят без жен. В мужской компании они пьют вино, курят, — и не решают как следует неотложных дел по перестройке, обновлению лейбористской партии, что назрело, в чем партия неотложно нуждается. Отсюда и ее неуспех перед лицом тэтчеризма.

Джин сказала, что лучше бы лейбористы-мужья проводили уик-энды в семейном кругу, с женами. Жены бы что-нибудь придумали, присоветовали мужьям полезное для лейбористской партии, до чего мужьям самим никогда не додуматься. О'кей!

В один из вечеров поехали в Бирмингем к Брокнерам, Джону и Дорине. Джон — ведущий дизайнер Бирмингема. Брокнеры живут на окраинной улице, в собственном двухэтажном доме. Я на второй этаж не заглядывал, моя жена там побывала вместе с хозяйкой, Дориной, говорит, наверху шесть спален.

Нас привезли к Брокнерам Ян с Джин; сами отправились в концерт слушать мессу Россини, веселую, в духе оперетты, исполняемую на двух роялях и еще на чем-то.

Дорина Брокнер — массивная еврейская женщина с массивным бюстом и всеми другими причиндалами фигуры, с медлительным, не допускающим в себя взором. Кто-то из ее предков — выходец из России. У Джона типическая внешность преуспевающего англичанина, достаточного во всем.

Впрочем, Джон тоже еврей, малоречивый, неулыбчивый, не раскрывающийся, с какой-то внутренней для себя задачей.

Гостей на уик-энде у Брокнеров немного (нас трое — уже кое-что): Вики, переводчица русского языка на Би-би-Си, приехавшая из Лондона по старой дружбе с Брокнерами, и нечто новое для меня: английская молодая пара: Элисон и Питер Грант. Оба предельно тощие; Элисон просто воробышек, нахохленный, серьезно-самостоятельный; Питер в неотросшей, но уже свалывшейся бороде, в свитерочке, вельветах — дизайнер, работает в фирме Брокнера.

Элисон преподает русский язык в школе в Солихалле, уже пятнадцать лет. И что-то есть в Элисон, в этом воробышке, — в прическе, выражении глаз, в ее русском языке — такое знакомое, наше. Говорят, профессия проступает на физиономии человека; профессия Элисон — Россия; она преподает Россию в Англии. Очень похожа Элисон на Олю, учительку русского языка и литературы в тихвинской школе.

Элисон сказала, что живут они с мужем в деревне Хэсли Ноб, в сельском доме под названием «Хэйвен Коттедж», в округе Ворвик, неподалеку от Дорриджа; у них двое мальчиков, пяти и девяти лет; Питер ей помогает во всем; у него есть опыт выращивания детишек: он из многодетной семьи, оказывался в роли старшего брата-воспитателя.

Элисон сказала, что в деревне с крестьянами у них нет полного взаимопонимания, хотя они живут там уже девять лет: крестьяне на них смотрят, как на городских, временных. К тому же у них, у Элисон и Питера, две машины, что вызывает у крестьян неодобрение, в крестьянских семьях по две не держат, только по одной. Крестьянам и ездить-то особо некуда; Элисон с Питером каждый день на службу: Питеру в Бирмингем, Элисон в Солихалл.

Элисон сказала, что у них с Питером нет своего огорода, домашней скотины: трудно с этим управляться. «Я работаю в школе, все отдаю работе, мне это нравится», — сказала Элисон. Школа в Солихалле огромная — 1200 учеников и, кажется, если точно уловил цифру, 600 учителей. То есть, цифру я уловил, записал, но теперь дома она представилась избыточной, невозможной: по учителю на каждых двух учеников — ничего себе учительский коллектив! Какую же надо иметь в школе учительскую?

Элисон сказала, что у них в деревне начальная школа, в ней учат детей от четырех до одиннадцати, потом отдают в высшую ступень, в Солихалл.

Элисон сказала, что очень любит Толстого, Пушкина, Тургенева, Чехова, а Достоевский труден...

В ее школе преподают немецкий, французский, итальянский, русский. В этом году русский учат 120 ребятишек, а на будущий год не записалось ни одного, так что будущее Элисон неясно.

По окончании уик-энда, то есть домашнего обеда-ужина с друзьями из России, в доме Брокнеров в Бирмингеме, Питер и Элисон

довезли нас до Дорриджа, сдали в сохранности Яну и Джин.

В Дорридже, как во всех городках Англии, выходит своя газета — «Фокус». В Солихалле выходит солидная многостраничная газета «Солихалл Ньюсс».

Утречком к нам пришла юная стесняющаяся девушка и молодой парень с фотоаппаратом, из «Фокуса»; взяли у нас интервью, сняли в газету.

Джин сказала, что раньше в Дорридже выходили две газеты, их продавали, издатели газет тем и пробавлялись. Теперь газета не продается; ее опускают в дверные щели каждого из домов в Дорридже, раз в неделю. За напечатание заметки в газете автор сам и платит. Это, по мнению Джин, не дело: газету составляют кое-как, газетчики слишком молоды, зелены. То есть уронено качество, что для англичан огорчительно. Раньше одну из газет издавали специально для начинающих журналистов, чтобы оттачивали зубы. Журналисты сами продавали свою газету; доход зависел от качества. Теперь этого нет, все это штучки леди Тэтчер. Вот так.

Ночью снилось что-то определенно хорошее, оптимистическое, в духе соцреализма. Я сказал Джин, что видел во сне гуд найтмер — хороший ночной кошмар, Джин от души посмеялась, отметила мой успех в английском юморе.

Утром укладывали в две машины тюки с постельным бельем, ящик с бутылками всевозможных зелий, латку с нарезанным картофелем — будущие чипсы, — горные ботинки, взятые напрокат, какие-то коробка, саквояжи, ридикюли, огромный букет тюльпанов — родителям Джин, ее сестре Мэри, они живут в том месте, куда мы поедем...

Не забыли ли чего? Кажется, все при нас. Тогда поехали. Катя с Эвелиной в машине Джин, мы вдвоем с Яном. Джин сразу умчалась вперед, Ян придерживался разрешенной предельной скорости 70 миль в час, это 105 километров. Но иногда разгонялся до 80 и 90. (Как бы не оштрафовали Яна, задним числом: у нас напечатают, в Англии переведут... Но до этого так же далеко, как от моего дома на канале Грибоедова, 9, до дома Шерманов на Уоррен Драйв, 12.)

Автострада на Ливерпуль была милостива к нам, с умеренным движением, с разделительной зоной отчуждения посередине, с высокой глухой оградой за кюветом: не припаркуешься по нужде, не сбегаешь в ельничек...

Где-то под Ливерпулем, в каком-то городке — не возьмусь вспомнить его название, так много проехали совершенно подобных один другому городков — свернули в какую-то улочку, припарковались к поребрику тротуара... За деревянной оградой с калиткой стоял себе кирпичный домик, в нем, оказалось, живут бабушка с дедушкой, родители Джин. В гостиной у бабушки с дедушкой горел живым огнем уголь в маленьком камине...

В укромной полости камина  
Лизало пламя кирпичи,  
Как на погосте, для помина,  
Горенье зыбкое свечи...

Тотчас стали собирать на стол чай, ну, конечно, с молоком, к чаю испеченное бабушкой печеньице с начинкой, кекс с изюмом. И так получилось славно попить чайку с дороги у стариков. Поговорили о чем-то непричастном времени, как старость: в России холодно, снег, мороз, а здесь цветут гладиолусы в палисаднике. Ладно, если раз в зиму выпадет снег, да и то его как языком слижет...

Матушку Джин зовут так же, как мою маму, Анной. Старенькая, морщинистая, но стройная, тоненькая, на тоненьких ножках, в туфельках на высоких каблуках, с подкрашенными губами трогательно до слез бабушка Аня напомнила мне мою маму. Господи ее благослови!

Дед Джон обыкновенный, у нас тоже мог быть такой дед. Джин сказала, что папа ее большой книгочей, но теперь ослабело зрение, однако... Однако дед принес не дорогой на вид простой говорящий ящик. Воткнул вилку в розетку, нажал кнопку — и ящик заговорил человеческим голосом. В ящик оказалась вставлена кассета с той книгой, какую бы дед Джон нынче прочел, если бы видел. То есть у

деда, как у всякого подслеповатого книгочея в Англии, есть ящик-подчитчик. На этот раз читал что-то из Оруэлла.

Прощаясь с родителями Джин, я сказал: «Храни вас Господь». Катя не смогла точно перевести, такого выражения нет в преподанном ей английском.

Как любят выражаться у нас в Советском Союзе, прервемся... Утро в городке Бэбингтоне. Дом на краю... Краю — чего? Зеленый дерн от порога дома до обрыва, укрепленного донизу кирпичной кладкой. Верх кладки вровень с дерном. Внизу под стенкой чернеет ровный разлив, уходящий вдаль. Вода? Нет, пожалуй, земля — чернозем, чуть осветленный примесью суглинка, подзола. Разлив не воды, а пахоты: поднята зыбь. Хозяин дома Дэвид Грэгг сказал, что здесь потэйтос — картошка. Ну ладно, хорошо.

Сейчас утро. Я в доме на краю пахоты. Между пахотой и кирпичной стенкой нет незапаханного пространства даже шириной в стопу, что не под ручку пройти, а так, самому.

Раненько утром я попытался продраться к кулисе ежевичника, вдоль беленого железного забора — ограды чьего-то поля, луга. Только исцарапался, уперся в другой забор. В Англии нет стежек-дорожек для прогулок или пеших хождений из пункта А в пункт Б; прогуливаются в специально отведенных местах.

Так в Дорридже, так же и в Бэбингтоне предместье Ливерпуля... Мы остановились в доме Мэри и Дэвида Грэггов; Мэри сестра Джин, тоже домохозяйка, но меньше урбанизированная, чем старшая сестра, более сельская, домашняя, отзывчивая на душевные движения. Все о'кей!

Сегодня понедельник, 10 декабря. Утро — сплошной туман, молоко. В Англии различают два рода тумана: э фог — туман непроезжий, сплошной, материальный; э мист — редкий, летучий, призрачный. От лондонского миста произошла вся мистика, чертовщина.

Завтра утром поедем дальше, а там будет видно. Но как увидишь, если сплошной туман?

Сын Мэри и Дэвида Майкл уехал на автобусе в школу, к восьми. Вчера он почему-то серьезно меня посвящал в расписание автобусов... Майкл поехал в специальную школу, он... специальный мальчик с отклонениями в психике; таких мальчиков — нам Божия кара-остережение! — нынче довольно у них и у нас. Впрочем, я мало что знаю о Майкле, как и о доме Грэггов, о доме Шерманов, о Бирмингеме, Ливерпуле и всей Великобритании. И о себе самом: сколько чего из финишд — финишировало, — сколько ту стэй — остается. Ну, ладно. Едем мы, друзья, в дальние края...

#### *IV*

Озерный край (Лэйк Дистрикт). Шесть утра. Кромешные потемки. Ночь лунная была; Луна полная, круглая, в ореоле на совершенно безоблачном небе. Венера много ниже Луны...

Вечером мы наблюдали, как Луна восходила против Солнца; Солнце садилось за гору, Луна вставала из-под горы. Внизу простирался Озерный край... Мы поднялись по овечьему выпасу на вершинное плоскогорье, точнее, плоскохолмье, нам открылась уходящая во все стороны плавность возвышенностей и долин (уэлли). По склонам и по вершинам ползали овцы (шип), сами по себе бел шерстные, серенькие, но мазнутые одна синей краской, другая розовой, чтобы знали чьи. Из-под ног выпорхнула куропатка.

По-английски холмы — хиллз, но в Озерном крае, Джин сказала, не хиллз, а феллз, что значит — повыше, посерьезнее, поближе к горам.

Наша изба (Ян снял ее по рекламному туристическому проспекту)... О, наша изба! Такой у нее знакомый запах, как в моей избе в деревне Нюрговичи, на Вепсской возвышенности; там тоже феллзы, тоже озерный край. Запах старого дерева, сгоревших в печи дров; запах очага...

В этой избе камин помещается в том самом месте, где некогда теплился очаг, согревал, давал пищу. Копоть на камнях оттуда, из XVI века, когда сложили из камня эту избу, этот очаг. Оттуда же и дубовые

просмоленные балки. Возможно, второй этаж достроили в наше время; на втором этаже четыре спальни; внизу большая горница с камином, с кухонной выгородкой за прилавком, электрической плитой, холодильником, горячей водой (из кухни есть вход в ванную), с телевизором, эркондишеном, еще чем-нибудь таким, чему и названия нет в нашем языке. У камина стоит некое чудо-невидаля — хромированное (может быть, серебряное?) вешало для совочков, щипцов, кочережек: управляться с камином.

Камин топят (мне затоплять) дровами какой-то лиственной породы; дрова сыроваты (назавтра у входа в избу появится пластиковый куль с углем). Впрочем, Шерманы привезли с собой пачку брикетов долгогорящего вещества, по запаху пробензиненного парафина. Отщипнешь от брикета кусочек, кинешь в топку, поднесешь спичку, — долго, долго горит жадным пламенем.

Вечером после ужина долго сидели у камина; зашел разговор о духах: не может быть, чтобы в таком древнем жилище не обитали духи. Разговор полушутя, но, как всегда, англичане потребовали исчерпывающего объяснения. Джин сказала, что ни в какую загробную жизнь, в духов не верит, принимает за действительное только данную, ею переживаемую минуту — то, что она ощущает и сознает. В чем не заподозришь Джин, так это в солипсизме; она исповедует рациональный, прагматический материализм...

Но я ей все-таки возразил в том смысле, что вместе с нами продолжают быть миры нам близких, умерших людей. Это суть не загробная жизнь; люди уходят, но их духовная энергия остается. Мертвые разговаривают с нами, мы готовы им отвечать; общение душ не имеет предела; нам являются духи...

Джин без обиняков спросила, верю ли я в Бога. Я отвечал, что в Бога как надмировое существо не верю, но... Не допускающая ни в чем двойственности, Джин не дала мне договорить, заявила о своем абсолютном атеизме, неверии во что бы то ни было ирреальное. Требовательно глядя мне в глаза, Джин сказала: «Я не думала, что коммунист может верить в Бога». Ее английский ум требовал однозначности. Я сказал, что судя по всему, без божеского как соединяющего, возвышающего людей над нерешимостью их проблем человечеству не обойтись в обозримое время. У нас низвергли

религию, насаждали марксизм-ленинизм как веру, но прошло семьдесят лет — и опять нужна духовная подпорка — в церкви...

Джин сказала, что в Англии храмы все более пустеют; люди разочаровываются в религии; католицизм приобретает черты диктатуры.

Джин сказала, что человеку надо искать опору в самом себе.

Джин сказала, что не может себя посвятить служению чему-либо или кому-либо вне круга той жизни, какой ей отведен. Она служит только себе и своим близким.

Горел огонь в камине. Было сколько угодно виски. На дворе была лунная ночь, вокруг простирался Озерный край, где-то между Шотландией, Уэльсом и Йоркширом, к северу от Ливерпуля.

Днем, когда мы приехали в эту долину, на берег ручья, свернув с асфальта на каменистую дорожку, Ян определил по карте место, остановился у белого дома. Вокруг не было ни души. Дом оказался незапертым. Мы вошли в него, подивились роскошеству убранства. Это мы подивились, моя семья. Ян тотчас же обнаружил несоответствие дома контракту, заключенному им с фирмой, сдающей дома в Озерном крае: в доме не нашелся камин. Кондишен, электроплита, электрический камин, сервант с фарфором, спальни наверху — все было, а камина — чтобы сидеть у живого огня, — не было. Это никуда не годилось. Мы отправились на поиски хозяина; он явился нам навстречу, приехал на японском лендровере. Указал нам искомый дом — с камином. Хозяин — фермер-овцепас и у него еще есть три дома на сдачу дачникам.

На вид хозяин был обыкновенный сельский мужик, похожий на Ивана Текляшова из моей деревни Нюрговичи, в резиновых замызганных сапогах, в камуфляжной блузе, какие носят в десантных войсках. При входе в дом мужик снял сапоги, что делает и Иван, затопил камин. В отличие от Ивана, прокурившего все зубы сигаретами «Стрела», мужик Озерного края имел великолепные зубы, как у президента Буша, и разговаривал по-английски. Правда, дикция его была такова, что мужика не поняли даже наши англичане. Ему налили полстакана виски, он выпил одним глотком, как пьет водку Иван Текляшов, утерся рукавом, еще раз показал нам президентские зубы, куда-то уехал на лендровере.

Больше встретиться с хозяином не привелось; нас предоставили самим себе — во всем Озерном крае, в это время года не заселенном приезжими.

...Из Ливерпуля в Кендал и дальше — по узенькой дорожке — все ехали в одной, Яна, машине; свою Джин оставила сыну Кристоферу (вспомним, он учится в Ливерпуле на инженера), пусть покатается мальчик, на воскресенье приедет домой. Ехали в рассеивающемся молочном тумане; все предвещало ясное небо (блю скай), солнечный день. Джин сказала, что принадлежит к феминистическому движению, что пора уравнивать женщину в правах с мужчиной. Я возразил на это, что Господом Богом было назначено женщине быть женщиной, а мужчине мужчиной; уравнивать Божьи творения противно закону естества. Как противна закону природы тотальная механизация, даже вот эта суперавтострада, на которой невозможно остановиться на мгновение, свернуть за кювет по самой крайней нужде...

Джин сказала еще, что Бог был мужчина, все создал по-мужчински неправильно, совершил ошибку (мистэйк), что женщина должна выбирать себе ту судьбу, какая ей более по нутру. Женщина может ходить на службу, а мужчина сидеть дома, нянчиться с детьми, если такое кому заблагорассудится.

Мне вспомнилась встреча в библиотеке в Кенилворте: там одна молодая леди спросила у меня, как у нас в государстве решается вопрос о правах женщин. Я ответил, что этот вопрос на повестке дня нашего Верховного Совета, наряду с другими, может быть, более неотложными, о государственном устройстве, собственности, земле...Кенилвортская леди, строго глядя на меня, сказала, что, не решив главного — женского — вопроса, нельзя решить ни один другой. Я подумал... и согласился. Если бы я не согласился, то не нашел бы понимания у кенилвортских леди, а мне хотелось понимания. Признаться, соглашаясь, я не покривил душой; скорее всего леди правы. Хотя преобладающая женская активность, будь то в семье или государстве, уверен, ни к чему хорошему не приведет.

Вчера Джин заявила:

— Завтра (туморроу) будем жить в свое удовольствие. Утром наварим вволю пориджа, будем весь день плевать в потолок.

Так и вышло (все выходит так, как задумано у Джин). Вечером мы сидели у камина, я рассказывал какие-нибудь истории из русской жизни, Джин из английской, Катя переводила; другие тоже живо участвовали в беседе: хихикали, уточняли детали, напоминали: расскажи вот про это...

Вечер незаметно перешел в ночь, безлунную, облачную, однако на дворе вдруг странно развиднелось (дверь наружу стеклянная). В полночь посреди долины на берегу ручья в Озерном крае можно было читать книгу эссе Вордсворта, купленную в Грасмере, где Вордсворт прожил лучшие годы и похоронен.

Джин сказала, что вот здесь за холмом — она держала на коленях карту (э мап) — живет ее подруга Клер — сногшибательная (марвилэс) рыжая женщина, которую ей бы очень хотелось повидать. Карту Озерного края Джин купила вчера в городе Кендале, куда мы заехали по дороге от озера Виндермер в нашу овечью избушку.

Уведомлю моих читателей, что мы-таки перевалим через холм, но Клер не застанем дома, повидаемся с ее мужем Тэдди Блэком и взрослым сыном Кристофером; Блэки, старший и младший — фермеры-овцепасы. Но о них чуть ниже.

На дворе шесть утра по Гринвичу. Я один не сплю во всем Озерном крае; воздух здесь хороший... Как-то, помню, в селе Никольском, на Вологодчине, ко мне подошел мужик, почему-то заверил меня: «Воздух у нас хороший. Выпьешь, покуришь, а тоски нет». И здесь тоже: вчера выпил, покурил, а тоски нет.

В овечьем Озерном крае посреди холмов и долин, примыкающих к небу, можно ощутить себя гражданином Вселенной (никто не спрашивает паспорта), приобщиться к нулевому циклу мироздания, се земля, се вода, се небеса. А се — огонь, в укромной полости камина...

Сидеть у огня, видеть в стеклянную дверь то, что было вначале...

Вчера мела пурга, несла в себе острые иголки, секла глаза. Но это было недолго, стоило перевалить горбину холмов, и опять стало тихо.

Ночью мне приснился очередной кошмар (найtmэр), то есть вещий сон, будто я взошел на трибуну на собрании в Союзе писателей, ругался матом, шумел, что меня не издавали четыре года. После мне

было чрезвычайно стыдно (эшэймд), я угодил в больницу, там не мог отыскать мою палату. То есть ночью мне был предложен полный набор пакости, приехавший в моем подсознании из Питера в Озерный край — весь комплекс дурных предчувствий, имеющих каждое свой символ во сне. Заблудился, потерялся — это к худу. Впрочем, в сновидениях человек переживает вторую жизнь, сотворенную подсознанием. Вот бы изобрести энцефало... записывающее устройство — для снов! сколько бы мы о себе узнали, какое бы вышло гениальное кино!

Разнообразные впечатления последнего времени непонятным образом вдруг отлились в четверостишие:

Бывал он сроду простодушен  
И особливо по утрам:  
Вставая от чужих подушек,  
Переживал без нужды срам.

Позволю себе короткую ретроспекцию: наше путешествие все длится, длится, длится, впечатления выпадают, всплывают, мерещатся; что когда было, не важно...

Мы ехали вдвоем с Дэвидом Грэггом, рыжебородым, солнцеликим англосаксом из Ливерпуля, на его «Форде-Скорпио», к устью реки Мёзи (на наших старых картах Мурсей)... Я не удержался, сказал ему, что все же как-то не по-людски сидеть за рулем справа, ехать по левой стороне. Дэвид согласился со мной, воскликнул: «Крэйзи!», то есть безумство. Везде в Европе правостороннее движение... Однако по всему было видно, что Дэвид Грэгг ни за какие коврижки не согласится сесть за руль слева, поехать по правой стороне, поскольку — англосакс. Маленькая Великобритания сохраняет левостороннее движение по дорогам (вся бывшая империя сохраняет) как историческую реликвию, тем самым взбадривает национальное самочувствие. Так же и на спидометре не километры и метры, а мили и ярды, и над раковинами медные краны без смесителя... «Крэйзи!»

Дэвид Грэгг — ученый инженер-химик, работает в главной фирме «Унеливер». Может быть, название фирмы пишется не так, пишу на

слух... В прошлом веке нашелся оборотистый англосакс по фамилии Ливер, принялся варить мыло (соуп) и пошло, и поехало. То есть, вначале появилось мыло Ливера, затем город Ливерпуль. Нынче выпадают дожди, после которых можно снимать с кровель урожай стирального порошка.

Сегодня 14 декабря 1989 года. Кажется, самый короткий день. Он еще и не занялся, потемки на дворе, а я вот пишу в моей первой английской тетрадке, то есть купленной в Англии (до того писал в советской), в Грасмере, да...

Затеplen огонь в камине... Потом у меня в деревне будет свой огонь... Почему-то все время наморщиваю лоб, припоминаю, что мне еще остается доступным, делаю инвентаризацию моих личных благ или, как любят нынче у нас говорить, льгот, приоритетов: 1) смотреть на огонь, 2) предаваться одиночеству. Не густо. Но я не гордый, я согласен...

Да, хорошо, но о чем бишь речь? Об Англии, о старой прекрасной Англии, величиной с Ладожское озеро плюс площадь его водосбора. Так многого мне хотелось отведать, испробовать в жизни. И этого тоже — доброго эля в английском пабе... Вернусь домой, меня спросят: «Что ты увидел в старой доброй Англии?» Я отвечу: «Я смотрел на огонь в камельке». Хотя и спросить у меня уже некому. Ну, ладно.

## V

Вчера ехали по узенькой тропке... Тропка для машин (фор карз) выстелена мелкими камешками, чем-то цементированными, то есть особым образом заасфальтирована...

Я вдруг вспомнил, просто пришло в голову такое простое соображение: вот я исписал за свою жизнь грудку тетрадей; в них есть отдельные части, страницы, достойные последующего прочтения... после меня, по искренности тона, как отпечаток души чувствительного человека, жившего в такое-то время. Ну да! Но я в моих дневниках

бывал за пределами откровенен, сообщал о себе нечто ниже дозволенного (кому сообщал? с какой целью?)...

Во всю свою историю литература как средство самопознания народа, нации или хотя бы одного слоя... порывалась выйти за предел, но что-то ее удерживало. У каждого времени есть свои ограничители дозволенности. Нынче они ослаблены, как прежде никому и не снилось. Нынче, чем ниже, тем выгодней. Наши нетерпеливцы торопят: русская классическая литература имела в виду человека только сверху до пояса, а ниже ни-ни, а там ведь тоже человек... Мы истосковались по целокупности — и с Богом, ура!

Но я-то весь с маковки до пяток (довольно продолговатая орясина) вышел из классической литературы, из XIX века. Но... Диккенсу Диккенсово... Набокову Набоково...

В моих тетрадках, если порыться, тоже найдется что-нибудь такое, пониже... Это я адресуюсь к потомкам с саморекомендацией, мало веря в успех.

Заехали к Хэйдл Эндрис... Будете в Озерном крае, загляните к ней на хуторок. Хэйдл напоит вас кофе или чаем, покажет (если пожелаете, то продаст) вам великолепные вещи из местной шерсти, ею собственноручно связанные. У Хэйдл есть большой белый кот, охотно дающий себя погладить, есть куры; Хэйдл походя поглаживает их по головкам.

Ее хуторок чуть в стороне от дороги. Ян хорошо знает поворотку.

Когда мы шли в деревню Кентмер в гости к фермерам Блэкам, Клер и Тэдди... Нет, это было уже на обратном пути... Джин сказала, что осенью наступает пора охоты на лис с гончими; когда лис убивают, приносят домой, то играют праздник: все напиваются, лица делаются красными, все танцуют старинные танцы, поют народные песни, о том, как пасут овец, охотятся на лис...

В доме у Тэдди Блэка есть, на стене повешены, лисья голова и хвост. На табличке обозначено, кто убил лису и когда.

Тэдди Блэк — фермер, живет в деревне Кентмер... Я спросил у него, почему в деревне, а не наособицу, как другие фермеры, что значит деревня в Англии, в Озерном крае? Тэдди сказал, что в деревне

шесть фермеров; одна на всех церковь, а больше ничего такого общего нет.

Сам Тэдди маленький, щуплый, в обыкновенном пиджаке, какие носят старые мужики у нас в селах. У него только необыкновенно большой нос — руль; это нечто британское, у наших таких рулей не бывает (небось бывают, но я не видел). Тэдди сказал, что у него примерно семьсот овец. Или семьсот пятьдесят. Пятьдесят голов туда-сюда могут пропасть, а потом найтись. Стригут овец (шип) пять раз в году. Самое трудное время для овцевода — это апрель, когда овцы ягнятся, тут уж гляди в оба. На это время нанимают работников, а так управляют вдвоем с сыном. Состриженную шерсть можно сдать сразу или хранить на ферме, но не долее ноября. В объяснения, почему так, а не эдак, Тэдди не пускался, высказал сами собой разумеющиеся вещи. Впрочем, он отвечал на мои вопросы, по ним составлял понятие обо мне, насколько я «секу» в овцеводстве. Я спросил, что знает Тэдди о России, Москве, Ленинграде, он отвечал, что слышать слышал, по телевидению показывают, но толком ничего сказать не может. Из разговора выяснилось, что в хозяйстве Тэдди Блэка есть корова, но не молочная, а для говядины (фор биф). Однако чай подавался с молоком, как всюду в Англии. Магазины в Кентмере нет (как и в моей деревне Ньюговичи), ближайшая лавочка в семи милях отсюда.

Тэдди Блэк сказал, что у него на ферме две легковушки, пикап, два трактора и еще кое-что по мелочи. Понятно, что семь миль по асфальту для него не задача. (Я плаваю в лавочку в деревню Корбеничи по озеру на надувной польской байдарке «Рекин»: 10 км.)

Устройство дома Блэков, собственно, такое, как и всех английских домов в провинции: на первом этаже столовая-гостиная, кухня; на втором спальни; у Блэков их две; ванная, совмещенная с клозетом (в моей деревне я хожу на вольную волюшку; никто меня не видит); эркондишен для обогрева... Только порядка поменьше, чем в городке, скажем, Дорридже, нет той чинности, стерильной чистоты; на кухне резиновые сапоги в том самом, что приносят наши мужики на своих резиновых сапогах из стайки; тем же и пахнет. Зато множество старинных фамильных предметов, например, уют чугунный, с полостью для горячих углей, кофемолка (или, вернее, зернодробилка) с деревянной ручкой. В сенях закудахтали курица, очевидно, снесла яйцо.

Когда мы покидали наш приют в долине у ручья между двумя грядами холмов — каменную избушку со стеклянной дверью и эркондишеном, Джин сказала, что надо все привести в тот вид, какой был при нашем поселении. Раздумывали, как поступить с горячей золой, выгребенной мною из-под камина. Я предложил высыпать ее на грунт: зола суть удобрение, не повредит грунту. Но на это не пошли: такого до нас не было. Остудили золу (сама остыла): на дворе стужа, на вершинах холмов лег снег; высыпали холодную золу в мусорный бак.

Приводя избу в первоначальный вид, мы еще раз окинули взором великое множество предметов обихода, украшений, всевозможных вещей и вещиц, назначенных к одному — благорасположению постояльцев. Сервизы столовые и чайные, с росписью в китайском духе, духовка для подогревания тарелок, электрические каминны в каждом углу, ковры, пледы...

Хозяин не посчитал нужным присутствовать при нашем убытии. На обратном пути мы заглянули к нему на ферму, но его не оказалось дома. С утра овцы нашего хозяина прошли большой отарой куда-то к своим баранам.

Ян запер дверь нашей избушки, ключ оставил в двери в том положении, как он был до нас. Так мы и уехали, вздыхая, стеная от прихлынувших чувств: прелестное местечко! Пока! (Вери найс плэйс! Гуд бай!)

Тут мне приходит на память одно впечатление нашей российской действительности, иной, чем английская: я приехал в мою деревню Ньюговичи, нашел в двери моей избы выломанный запор, в избе не досчитался предметов, хотя ничего не стоящих, но жизненно важных: пилы, удочки, швабры. О! Я так любил мою швабру, фабричного производства; привез ее из Ленинграда, бывало, подметал в избе, переживал маленькую радость собственноручно наведенной чистоты, порядка...

Моя деревня Ньюговичи тоже прелестное местечко (вери найс плейс), но, глядя на оставленный незапертым дом в Озерном крае, со множеством ценностей, я думаю о нашем мужике, унесшем пилу, удочку и швабру из моей избы в Ньюговичах; мужика можно вычислить... И мне жалко до слез и его, и самого себя, и всех нас

бедных, разучившихся жить по совести. Англичане живут лучше нас не потому, что вкушают вкусную пищу из китайских сервизов, а потому что собственность для них свята, как природа, история, камни, доброе имя старой прекрасной Англии. Сколько мы их попрекали за это самое собственничество, сколько свое родимое попирали, взрывали, экспроприировали, перераспределяли, разворовывали. Вот, до швабры дошло... В каком месте совесть потеряли? Как ее найти, вернуть?

За одним из поворотов, за каменной оградой... Кстати, об оградах... Камни сложены с превеликим тщанием, очевидно, их складывали и в XVI веке, и ранее, и по сей день; кладка нигде не порушена; в оградах, пересекающих дороги, толково навешаны ворота с запорами, у каждого ворот особенный запор.

О каменных кладках мы тоже говорили с Тэдди Блэком. Тэдди сказал, что камни складывали для того, чтобы... освободить пастбище от камней. Ну, конечно, не только для этого, — и для другого: мы видели овец, спасающихся от секущего ветра под защитой ограды; вместе с овцами у ограды жались черные лохматые яки. Простому объяснению Тэдди Блэка: пастух собирает камни с пастбища, чтобы вольнее пастись стаду — находится вполне реальное соответствие в тексте Библии: время собирать камни. Очищали пастбища, заодно обозначали границы выгонов, создавали закутки от ветра — материальная нужда скотопасов обретала бытийный духовный смысл, запечатленный в Книге книг.

Каменные стенки на холмах (феллз) в Озерном крае настолько искусно выложены, исполнены заповедного смысла, что одухотворяют холмы и долины — с прозеленью травы, ржавчиной жухлых папоротников, белыми снежниками, купами рыжих лиственниц, серыми валунами овец... Ограды на холмах Озерного края видишь не в их утилитарном назначении, а будто извечную оправу, что-то значащий орнамент; если взлететь высоко, парить, по-ястребиному распластав крылья, может быть, откроется смысл кладок, целостность их рисунка... Крестьянские труды всегда исполнены высшего смысла, гармонии, даже патетики, будь то стога сена, пашня, хлебная нива, тем более, каменные изгороди на холмах...

Обозначаю день: 15 декабря 1989 года. Соседи Шерманов в Дорридже поставили елку прямо против своего дома на Уоррен Драйв. Будут ли ее наряжать, поживем-увидим.

Хотя пора ехать домой... Я как-будто состарился в старой доброй Англии, чувствую себя полностью отрешенным от текущих здешних дней, дел, забот. Все движется мимо, не задевает. Время от времени надо встряхиваться, напоминать себе: я есть... Ай эм, как говорят англичане...

Джин сказала, что будила утром Кристофера, он приехал ночью из Ливерпуля на ее, Джин, машине, которую она оставила ему, чтобы он приехал... И вот она будила сыночка, а он не встает, из принципа не хочет подчиняться материнской воле, хочет быть свободным (фри) и вообще он был упрямый мальчишка, много дрался, бывало, приходил домой с синяками.

Джин сказала, что этой ночью (тунайт) умер Сахаров, что он был выдающийся человек.

Вести из России или просто внезапные воспоминания о чем-нибудь домашнем причиняют боль, из которой нет выхода кроме как повернуть переключатель: не избавиться, не позабыть, а на время перенастроиться. Домашние думы плачевны...

Газета «Гардиан» из номера в номер на первой полосе печатает обращение «Грин пис» ко всем: Япония планирует в предстоящем 1990 году убить в Антарктике 300 китов. Встанем все как один на защиту китов, не дадим их убить! Предлагаются телефоны японского посольства, номер счета для сбора средств на защиту китов.

О событиях в СССР сообщается скупо, где-нибудь на восьмой, шестнадцатой странице, об оппозиции Горбачеву, с упоминанием лиц известных и новых. На главном месте в газете сообщения о репатриации «людей на лодках», беженцев из Вьетнама в Гонконг, — обратно во Вьетнам. В ежедневном приложении к «Гардиан» я прочел большой очерк о фермере, разводящем форель.

Джин сказала, что вчера на долгой тяжелой дороге устала, плохо спала. Ян уехал на работу тоже неотдохнувший. Работа у него нервная...

Однако вернемся на то место в нашем путешествии-приключении (Джин сказала: «эдвенчур»)... На какое место? Когда на каменную ограду взлетел фазан, а за оградой мы увидели пасущуюся стаю фазанов... Еще в поездке было такое место, вечером, когда в свет фар попали два кролика (рэбитс), ушастые, серые, пушистые. Ян притормозил, кролики свалились на травяную покать, в долину...

Дорожные впечатления вспухают в котелке памяти, как пузыри в кипящем поридже (к фазанам, Бог даст, еще возвратимся). Вот, например, такое: остановились, что неизбежно в дальней дороге, тем более после большого бокала пива в Кендале... То есть остановиться мы могли только в этом месте, ни в каком другом такого блага нам не выпадало — на перегоне Кендал-Бирмингем... Заехали на огромное стойбище, нашли место в стаде машин. Вошли в стеклянную дверь, оказались в мире, искренне благорасположенном к путнику — в тепле, чистоте, благоухании колониальных товаров; туалеты бесплатные...

Да, и вот мы в дороге, в пути, на автостраде с трехполосным движением в двух направлениях, с разграничительной зоной посередке, под проливным дождем, в тумане, на скоростях за девяносто миль...

А здесь передышка. Можешь покурить, поговорить по телефону с любым городом на земном шаре. Можешь подкрепиться всем, чего пожелает твоя душа. Или, наоборот, расслабиться. В этом мире (оазисе) отдохновения за кассами высоко на стульях восседают дивные девы в белых блузках, как рождественские снегурочки. Да и время к Рождеству! Здесь очень хочется потеряться и больше отсюда не высовывать носа.

Еще очень не хотелось уезжать из избы в Озерном крае, со стеклянной дверью в Божий мир: больше в такой избе не живать. Когда я зажигал дрова и угли в камине, то думал, естественно, об огне. Горящий, дающий свет, тепло огонь в домашнем очаге обладает благодетельным даром умиротворения, умягчает душу. Не знаю, подсчитано ли в Англии число разводов в домах с камином и без; интересно бы узнать: уверен, что от горящего домашнего очага уходят крайне редко, обе половины. Не зря же англичане так держатся за камин, знают, что живой огонь не заменит его электрическое подобие,

ребро батареи, синий язык газа; камин поддерживает нужный для семейного счастья (или, скажем, душевного тепла) градус.

В русских крестьянских семьях, в нашем студеном климате, в избах с печью посередке как центром мироздания, разводов-разделов в помине не было. Муж и жена — одна сатана! Домашний очаг держал крепко и нынче держит. Не только у русских...

Когда я затопляю русскую печку в моей избе, то отношусь к ней, главным образом, как к камину: смотрю на огонь. Огонь — существо дружеское: как ты к нему, так и он к тебе, и его нельзя обмануть; домашний очаг требует душевной взаимности. Вот оно как, до чего можно додуматься, имея некоторый опыт поддержания огня в камельке.

Однако вернемся к нашим фазанам...

Утром (по пути в Озерный край) мы завтракали в Бэбингтоне в столовой у Грэггов, Мэри и Дэвида. Завтрак обыкновенный английский: бекон с яичницей, сильно, до сухости поджаренный, круто посоленный; сладкие кукурузные хлопья с молоком, поридж, сваренный на воде, с молоком же или со сливками...

... Да, и вот сидим мы у Грэггов, вкушаем очень английский завтрак, а сами такие русские. Или, может быть, советские, то есть почти уже и не русские. А какие? Я-то точно русский, вышел из лесу, в лес и уйду. Моя семья — горожане, в большей степени, чем Грэгги или Шерманы — обитатели городков, с окошком в сад, с пасущимися там фазанами, крадущимися лисами.

В садочке у Грэггов на зеленой траве (в конце декабря) пасся радужногрудый фазан. Никто не побежал за ружьем его застрелить, никто не оторвался от своей прелестной чашки (найс кап) чая, от своей поджаренной булочки. Все посмотрели на фазана, у всех полегчало на душе.

У англичан это принято: облегчать друг другу души. Мужья подают женам чашки с чаем, карамели, пудинги. В гости ходят с цветами, подарками, подливают в бокалы вина. Поднимая бокалы, провозглашают: «Чиэрз!» — ваше здоровье! Непрестанно благодарят, извиняются, спрашивают, кому чего угодно, угощают шоколадом, сладкими бомбошками, виски, шерри, пивом...

Так вот, у Грэггов...

Джин и Мэри родные сестры. Судя по всему, у Джин с Яном в семье все о'кей. У Мэри с Дэвидом вообще, кажется, блестяще (экселент), если бы не одна заковыка...

Наше знакомство с Мэри и Дэвидом началось в доме у стариков, родителей Джин и Мэри, у дедушки Джона и бабушки Анни. Мы сидели у камина, тут приехали Мэри с Дэвидом, с сыном Майклом, мальчиком не по годам напряженно-сосредоточенным, ни одной черточкой не похожим на папу и маму. Посидели, побалагурили, попили чаю с кексом и поехали — на четырех машинах: Яна, Джин, Мэри, Дэвида. Три наших семьи ехали на четырех авто, в среднем, по 1,75 члена семьи на мотор, — это подумать, сколько зазря сожгли соляра, выпустили в атмосферу двуокиси углерода!..

В доме у Грэггов мы погостевали, выпили белого вина (белым вином у нас в сельской местности называют водочку, но тут подавали, кажется, мозельвейн), со многими вкусностями семейной фирмы: маринованными, похоже, опятами — и опять поехали, теперь уже на двух моторах: мою семью повезли в Ливерпуль смотреть музей битлов, меня Дэвид повез куда-то на природу, не то на берег залива, не то в устье реки Мези, куда приезжают на холидэйз даже из Лондона...

Мэри и Дэвид Грэгги взяли Майкла трехлетним ребенком из приюта (нам поведала Джин). Мать Майкла жива, она алкоголичка, ее лишили родительских прав. Насчет отца Майкла я не уловил. Собственно, и приюта не стало: железная леди Тэтчер упразднила в Англии дома малютки, подобные им заведения. Сирот отдают на попечение в деревни, в семьи... Своих детей Грэггам Бог не дал. Майкла взяли как обыкновенного нормального ребенка, но, подрастая, он обнаружил в себе отклонения психики, признаки дебильности, отстал в развитии. Сейчас ему 12 лет, он учится в специальной (спешэл) школе...

Позднее мы побываем на семейном ужине у Эвершедов в Лапворте по соседству с Дорриджем. Глава семьи Барри Эвершед — директор заведения, подобного тому, в каком учится Майкл, — сообщил нам о том, что... железная леди наложила лапу и на бюджет его заведения... Конечно, у Эвершедов свой дом, не хуже, чем у других, у Барри и у его жены Морин по машине; к званому обеду испечен пирог, не похожий ни на один из подаваемых в округе и во

всей Англии, но, в интересах семейного бюджета, Эвершеды разводят кошек особой селекции, дымчато-серых, мосластых, длинноногих, как звезды Голливуда, с большими, продолговатыми, зеленоватыми, многозначительно помаргивающими глазами. Кошкам разрешается ходить по обеденному столу — они равноправные члены семьи, — а после, когда посуда сносится в кухню, доедать то, что осталось. Хозяева показали нам рекламные проспекты своей кошачьей фермы, адреса клиентов-кошколюбов в Австралии, Южной Америке, Штатах, Японии, Европе.

И еще они показали нам превосходно изданную книгу с картинками, для детского, а также и взрослого чтения о том, как... на дальнем острове в океане жили два овцевода, пасли овец... Как вдруг глава соседнего государства решил: «Мое!» А глава отдаленного государства Железная Леди — ее так и изобразили в железном рыцарском панцире на шарнирах — сказала: «Нет, мое!» И двинулись армады железных кораблей к далекому острову в океане, грянули залпы ракет, взлетели на воздух обломки кораблей, камни пастушеских ранчо на далеком острове... Железная Леди победила, ее победу чувствовала вся нация. Следствием победы явилось обширное кладбище, с бескозырками морской пехоты на каждом кресте, а на далеком острове две кирпичные трубы от печек, все что осталось от ранчо овцепасов.

Когда мы были в гостях у Эвершедов, я все время ощущал на себе изучающий смешливый взор дочки, девушки-подростка Джессики; она впервые видела рядом с собой русского медведя, давала волю своей природной смешливости. Все же во мне, я знаю, порядочно от медведя; мои жена с дочкой более продвинутые, унифицированные в смысле европеизма, а я, как ни крути, русский валенок, чем и самоценен. Впоследствии и это из нас уйдет — а что останется... в связи с переходом к рынку или, как говорит наш премьер, на рынок? Я встречался глазами с Джессикой, легко читал у нее в глазах, как она классифицирует меня: медведь, валенок — мне тоже становилось смешно... Хотя у нас, у русских, как мы помним из школьных уроков литературы, из Гоголя, Чехова, смех почти всегда сквозь слезы.

Это в Лапворте, потом. А пока что мы живем в доме Грэггов, в Бэбингтоне под Ливерпулем, в доме со множеством спален на втором этаже; я — в отдельной камере с телевизором; — с пудингами,

ростбифами, карамелями, шерри и виски. По утрам я вижу, как Мэри, милая добрая Мэри, сестра Джин, дочка бабушки Джона и бабушки Анни, выходит на крылечко в садик, курит и плачет. После она смеется, подливает в чашки чай с молоком. Я знаю, что смех у нее сквозь слезы, это смыывает всю разницу наших положений; все мы — дети в руках у Рока; одна судьба у всех нас — смертных людей.

За завтраком Джин сказала, что им с Яном, как лейбористам, приходится туго, еще года три тому назад они резко ощущали на себе изоляцию, враждебность (а теперь немножко поотлегло). Телефонные разговоры подслушивались, подозревали в шпионаже в пользу большевиков. На прошлых выборах предупреждали: тем, кто не проголосует за консерваторов, ничего не светит в смысле карьеры, служебного восхождения. Ян в своей фирме единственный противник тэтчеризма, отсюда у него и неприятности по службе (мисфорчун). Джин сказала, что был такой консерватор Мак-Грегор, доверенное лицо железной леди Маргарет Тэтчер; это он укрощал бастующих шахтеров, проявил твердость и преуспел. О Мак-Грегоре говорили как о блестящем политике, одаренном редкими способностями человеческого существе (хьюмен бинг)... Однажды Ян был вместе с Мак-Грегори на званом обеде, вблизи разглядел звезду первой величины эпохи тэтчеризма и... пришел к выводу, что звезда — просто посредственность, серая лошадка.

## VI

17 декабря 1989 года. Последний день в Дорридже. Уезжаем. Дует ветер. Несутся по небу облака, плотные. Гуд бай, Дорридж!

Вчера мы ехали из Дорриджа в Лондон. По сторонам дороги простирались зеленые холмы (грин хиллз) с пологими склонами. На лужайках паслись овцы (шип). Джин сказала, что вот здесь, в этом месте (эт хиэ) произошла главная битва времен Кромвеля. И что здесь пало множество воинов, мы едем по могилам. День выдался ветреный,

ясный, являлось солнце. Если закрыть глаза, можно испытать полное ощущение лета (ту флай), настолько мягко, быстро, с горки на горку взлетал «Воксхолл» Яна. Я думал, что, наверное, это — большая удача: вот так лететь по зеленой Англии, без малейшей заботы о завтрашнем дне, тем более о дне, текущем навстречу, сплошь состоящем из рождественских подарков (мэрри Кристмас). Но у меня внутри неотступно, как партийное поручение, напоминало о себе сердце: я изнашивался, я больное, на мне инфарктный рубчик. Валидол не помогал, не снимал ответственности (за сердце), нитроглицерин в тюбике стоек в муку. В благоденствии семейного уюта наших дорриджских доброхотов сердце помалкивало, в день прощанья зануло, не позволяло отдаться счастьем быстрой плавной езды по Англии в ясный день, как сущей удачей. Не возникало слиянности с удачей, будто удача досталась кому-то, не мне. Удача всегда приходит позднее того часа, когда нужна тебе позарез, ты готов ей предаться. Придет, а воспользоваться ею — не хватит сердца или чего-нибудь еще.

В Лондоне... Сажу на кухне в двухкомнатной квартире, на четырнадцатом этаже точечной многоэтажки, в муниципальном доме Вудфорт Корт, в районе Шепердсбуш, а точнее, Шепердсбуш Грин. Грин — лужайка внизу под окном, что осталось от некогда зеленевшего здесь, поросшего кустарником овечьего пастбища (шеперд — пастух; буш — кустарник). Мы квартируем в Лондоне у Ольги Ивановны Бабляк, 76-летней, полной жизненных сил русской женщины, уборщицы лондонских офисов, нынче пенсионерки.

Это — другая судьба, жизненная история — другой роман...

Однако моей Англии, то есть всего написанного мной в итоге английских посиделок, могло бы не случиться, если бы в Лондоне на Шепердсбуш Грин не жила Ольга Ивановна. Я знаю, что в последние десять лет через ее квартиру на четырнадцатом этаже прошли многие советские граждане, всегда малость нищие в чужой стране, бесповоротно забывшие, что «у советских — собственная гордость»: родственники, знакомые, десятая вода на киселе. Каждый бывал приючен, обогрет Ольгой Ивановной, накормлен на кухне украинским борщом, напоен пахучим английским чаем фирмы «Эрл Грэй» и, что потрясало гостей Ольги Ивановны (сам изведаль, сажу по себе),

наделен денежным фунтовым довольствием, из вдовьего пенсионера. (Фунты давались с надеждой, что обернутся какой-нибудь суммой для сына Ольги Ивановны Жени, живущего в Ленинграде отнюдь не богато, как большинство; сумма не назначалась; расчет производился по душе).

Мои познания об истории Ольги Ивановны Бабляк отрывочны, зыбки, да и как могло быть иначе? Ее история по ту сторону моего опыта; о подобных судьбах к нам не доходило ни грана правды. В наших разговорах с Ольгой Ивановной мы больше касались других материй.

Я знаю, что война застала Ольгу Ивановну в лесном поселке Лисино-Корпус под Ленинградом, с двухгодовалым сыном Женей: муж Логин ушел на войну и канул. Нужда в куске хлеба погнала молодую тогда солдатку, с сынишкой, вместе со всеми, в Прибалтику; работала на ферме у латышей. И снизошло на нее там, в латышах, спасительное редкостное чудо: нашелся ее муж Логин: попал в плен, отдали латышам в хозяйство. Конечно, счастливая случайность... Но у оккупационных властей выходил бюллетень по розыску одних другими, это и помогло.

Когда в Прибалтику подкатил вал войны с востока, а впереди него облако страха: Сибирь, лагеря тем, кто остался — Бабляки с полчищами таких, как они, несчастных соплеменников, подались на запад, начались скитания по лагерям перемещенных лиц, покуда Логин не завербовался на шахты в Англию... Далее — сюжет романа, которого я не читал, восхождение русского семейства на чужбине из барака лагеря, из потемок шахты на четырнадцатый этаж дома Вудфорт Корт в Лондоне.

Году, наверное, в шестьдесят втором или шестьдесят третьем в нашем доме в Ленинграде появился молодой человек, необычной у нас внешности, манеры держаться, говорить, светлородый, проливающий из голубых глаз целые бадьи ничем не замутненной душевной светлости, абсолютно стройно-сухопарый, высокий, в английском твидовом пиджаке, джинсах — Женя Бабляк, мой будущий сердечный приятель...

Здесь и начало моих хождений в Англию...

Женя Бабляк (все звали его Женькой) пришел к нам потому, что учился вместе с моей будущей женой в Высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной. Моя жена пригласила Женьку не только по студенческой дружбе, но и по житейской нужде: мы только что въехали в однокомнатную кооперативную квартиру, то есть не въехали, а вошли, неся в руках все наше наличное имущество. Мебели, вещей домашнего обихода, а также и средств к существованию у нас пока что не было: мы вступали в молодоженскую жизнь свободными художниками; время не очень поощряло искусства, тем паче свободу. Что было, ушло на квартиру.

Помню в нашем доме на первом этаже жил тогда поэт Вася Бетаки, с многодетным семейством, а мы — на пятом. Бывало, я занимал у Васи тридцать копеек, покупал триста граммов кильки пряного посола: килька поступала тогда в торговую сеть бочками... Нынче Вася Бетаки что-то редактирует в Париже, иногда вещает по «Свободе». По прошествии семнадцати лет после его отъезда мы с ним повстречались в кафе нашего Дома писателя. Весь его вид, лицо, речи выражали одно: превосходство надо мной, над нами, неухавшими. Он вспомнил о чем-то таком, давно мною позабытом... «Помнишь, когда меня исключали из Союза писателей, ты ко мне подошел, спросил с сожалением: «Как же ты теперь будешь жить?» Я ничего тебе не сказал, только внутренне посмеялся. Меня тогда уже ждало хорошее место в Париже... Сейчас ко мне переехала младшая дочка, я ее выдал замуж за француза, моего друга... И старшая переедет...»

Я вспомнил... Положение Васи Бетаки, исключенного из Союза, представилось мне ужасным. Я его пережил как собственное потрясение. Вася тогда посмеялся надо мной. Теперь мог я посмеяться — последним, но было не смешно.

Женька Бабляк явился к нам в шалаш, в наш рай влюбленных — мы спали тогда на полу на газете «Правда», уложенной в несколько рядов, — с большим мешком за спиной, достал из мешка столярный топор, пилу-ножовку, рубанок-фуганок, стамеску, лобзик, дрель, шлямбур-зубило, отвертку, металлические уголки, шурупы... Началось в моей жизни упоительное время пиления, стругания, пробивания дыр в стенах и потолке, обжига деревянных поверхностей, варения на газу воска со скипидаром — под руководством англичанина-золотые руки Женьки Бабляка. Впрочем, все у нас начиналось с ночной операции:

мы утаскивали с соседней стройки заледеневшие сосновые доски (дело было зимой), оттаивали древесину, выявляли инструментом ее текстуру (Женька утверждал, что она похожа на музыку Вивальди). В доме пахло стружкой и скипидаром. Работа сопровождалась беседой; выше радости я не знаю, чем беседа с близким по духу человеком. Больше высказывался Женька, так много он всего передумал.

Я узнал от моего нового друга, что он работал на стройках в английской глубинке и в Лондоне, овладел строительными профессиями; окончил не то колледж, не то лицей, то есть по-нашему получил среднее образование; год прожил в Париже, тоже чему-то учился. Но главный труд его души в отрочестве и в юности состоял в том, как снова стать русским, обрести свою Родину и — что значит Россия, какая она. Дома разговаривали по-русски, за порогом дома Женька становился англичанином.

В своих рассказах Женька мало останавливался на фактах, лицах, постоянно витал в мечтах-эмпиреях. Однажды вспомнил, как вместе плыл на пароме из Дувра в Гавр с Александром Федоровичем Керенским, беседовал с ним. С почтительной любовью рассказывал о своем английском друге-наставнике Володе Ковальском, ставил Володю много выше себя во всех отношениях: лучшее в своей судьбе, то есть возвращение в Россию приписывал его благотворному воздействию.

Я узнал от Евгения Бабляка, что Володя Ковальский прошел войну от Ржева до Эльбы, закончил ее комбатом, то есть командиром батареи, с металлом наград на груди. Но у комбата случилось несовпадение мнений с политорганами... по какому-то нравственно важному поводу (Женька о фактах говорил вскользь, мало что понимал в советской системе и идеологии), над комбатом нависла угроза того же рода, что, в свое время, и над артиллеристом Солженицыным... Он сделал шаг в западном направлении, без малейшего шанса на обратный ход в обозримое время. В Лондоне Володя Ковальский овладел строительной профессией, набрал высокий разряд... Такова была Женькина версия о его лондонском друге. Я воспринимал ее, как интересное сочинение. (По-английски художественное сочинение — фикшн, фикция, то есть вымысел).

«Мы с Володей работаем, — рассказывал Женька Бабляк, — монтируем подвесной потолок, а он меня экзаменует. Даст мне

прочесть «Войну и мир», после спрашивает, какую идею я вынес, как понял Россию, русского человека, про Наташу Ростову, Платона Каратаева... Или купит билеты на «Лебединое озеро».

Вот как все несбыточно красиво, ну, прямо сказки Шехерезады; Володю Ковальского я даже не мог представить себе в человеческом образе, в постижимых житейских обстоятельствах: нас разделял тот самый рубеж — железный занавес, — за которым все становилось призрачным, как в мире ином.

Когда у нас наступила хрущевская оттепель, Евгений стал жадно прочитывать советскую прессу, в особенности «Известия», покупал в магазине русской книги «Коллетс» на Чэринг Кросс Роуд все, что поступало от нас. Володя Ковальский не только благословил своего юного друга, но настаивал, увещевал: «В Россию! Туда! Русскому место в России, на чужбине ему не жизнь!» Однажды Евгений сел на лондонском вокзале «Виктория» в поезд, идущий в Дувр... Родители проводили его до парома... без надежды когда-либо увидаться с единственным сыном. То есть надежда забрезжила — от хрущевских посулов, тем тягостнее было бы ее лишиться. Ведь сами, своими руками отправили сыночка на муку мученическую... Что они пережили тогда?!

Из первых советских впечатлений совсем еще юному в то время Бабляку запомнилось такое: его пригласили в Большой дом на Литейном, долго обо всем расспрашивали, вели протокол. По своей абсолютной простоте Женька спросил у дознателей: «Что вы меня допрашиваете? Ведь я сам, по собственному желанию к вам приехал». Чекисты попались ему откровенные ребята, ответили без обиняков: «Мы тебя не допрашиваем, парень. Мы с тобой беседуем. Если бы мы тебя допрашивали, у тебя бы на пиджаке ни одной пуговицы не осталось». Об этом случае Женька рассказывал с некоторым даже восхищением, так понравился ему здоровый цинизм чекистов.

На тему о том, насколько в Советском Союзе живется лучше, вольготнее, чем в Англии, Женька мог распространяться бесконечно, возносясь высоко над бытом, не видя лжи, двойственности нашего существования, засевших у нас в печенках. Он приехал в Советский Союз со здоровой английской печенью (ливер). Впрочем, можно его и понять... Доводы приводил такие: «В Англии нет ни клочка свободной

земли, только частные владения. А здесь... я сяду в поезд, отъеду сколько захочу, лучше всего в северном направлении... выйду на любом полустанке, могу идти лесами куда душа пожелает, могу зажечь костер, смотреть на огонь... Мой папа, лесничий, мне говорил, что для него было божественной музыкой — слушать, как ветер гудит в стволах ружья... В каждом доме меня пустят ночевать, накормят, пожалеют...» Его восхищало узнавание в русских словах еще какого-нибудь второго, сокровенного смысла. Ну, например, жалеть это значит любить. Настольной книгой ему тогда служил «Толковый словарь» Даля.

Женьке очень нравилось, что наш советский работяга плюет на своего начальника, ничуть не боится быть уволенным, ибо всегда найдет себе место; в нем, работяге, нужда. И никто не думает о копейке про черный день. «Это надо испытать на собственной шкуре, вам не понять, — объяснял Женька нашу выгоду перед теми, кто там, — как трясется англичанин за свое место, выслуживается перед хозяином, каждый день откладывает копейки...» О! Такого апологета советской системы, как русский англичанин Женька Бабляк, я больше не повстречал в своей жизни. Как-то спросил у него: «Женя, ну а все-таки, признайся, тянет тебя домой в Лондон, у тебя же есть там где жить, папа с мамой?..» Он отвечал по обыкновению с неподдельным максимализмом: «Знаешь, если бы мне предложили: выбирай — или навсегда уехать в Англию, или мы тебя посадим в тюрьму на три года, я бы лучше сел в тюрьму. Если бы посадили на пять лет, я бы подумал...»

Потом настроения Женькины переменятся, но до этого еще далеко — целая человеческая жизнь — увы! такая бесчеловечно короткая...

Если глядеть со стороны, все вроде складывалось в судьбе единственного (других я не знаю) беглеца из капиталистического ада в социалистический рай по канонам соцреализма: преимущества нашего строя брали верх над соблазном загнившего Запада несколько даже слишком явно, в любом варианте. Жилье Евгению Логиновичу Бабляку я не знаю, кто дал — комнату в коммунальной квартире, в центральном районе города, неподалеку от упомянутого Большого дома. Новый квартиросъемщик первым делом прочистил в доме дымоходы, в келье его зажегся камин, запроектированный при

постройке дома, но растащенный в наше время по кирпичику, по изразцу...

Еще студентом Евгений женился на самой красивой девушке в Мухинке Милке, с маленькой головкой, как у красавиц Модильяни, с чрезвычайной длины ногами; даже было за нее страшновато: каково такой длинноногой в нашей, в общем, приземистой толпе?

Едва ли когда учился в Мухинке такой завидный жених, как англичанин Евгений: собой пригож, при манерах — и золотые руки, умница, с детской непосредственной душой, искренний в чувстве и слове... В общем, пара вышла на славу. Вскоре у Женьки и Милки Бабляков родился сын Алеша.

Ах, если бы не Женькино простодушие... Он так и не нарастил защитную оболочку; под твидовым пиджаком трепыхалось его раскрытая каждому — не знаю, как назвать ее: английская или в идеальном выборе русская — душа. Что оборотилось...

Здесь я сделаю паузу, передохну, настолько трудно, горько мне вспоминать, что случилось дальше. Как-то Евгений познакомил меня со своим новым другом, со славянской фамилией не то Светозаренко, не то Драгомыщенко. Новый Женькин друг явился откуда-то издалека, место не уточнялось. Внешне он представлял собой прообраз того, что нынче оформилось в нашем сознании как стереотип «русака»: с длинной гривой русых волос, окладистой бородою, с очень русским открытым лицом, размытой до белесоватости голубизною глаз, могучий телом. Говорил новый друг, как я помню, только о возвышенном, божественном, о спасении России во Христе, о призвании русских подать миру пример великодушия и благочестия. Кажется, он знал еще петь казаческие песни, красивым баритоном; Женя ему подпевал тенором, до слез умиляясь красоте распева.

Я не знаю, как оказался новый друг в доме у Бабляков, но, бывая у них, видел, что гость не чувствует себя гостем в этом доме, а чем-то другим, занимает слишком много места на скромной жилплощади и вовсе не собирается уходить. Он любил повторять, что чувствует себя у Бабляков как дома, что — другого дома где-либо у него нет. Женя воспринимал это как комплимент, с искренней застенчивостью гостеприимного хозяина. И он вполне доверился пришельцу неизвестно откуда: беседы у камина с истинно русским божьим

человеком, под дивные звуки старинных песнопений доставляли ему неподдельную радость.

По утрам Евгений Бабляк уходил из дому на службу (иногда надолго куда-нибудь уезжал, например, в Казахстан, участвовал в новостройках как архитектор и дизайнер); гость оставался с хозяйкой дома, прикованной к малолетнему Алеше. Однажды, вернувшись, Женька вдруг понял... Ему объяснили... Ну да, его выставили за дверь. При отлучении хозяина из дома, мужа, отца от его прав Светозаренко-Драгомыщенко проявил железо своего характера, прежде скрытое под смиренностью божьего человека.

Евгений Логинович Бабляк собрал в мешок свой инструмент столяра-печника-чеканщика и... погрузился в потемки большого, отсырелого, равнодушного к беде человека города, скитался по подвалам-чердакам, где такие как он его сотоварищи что-нибудь мастерили, занимались какими-нибудь художествами, по случаю и так пили водку, по-русски много о чем-нибудь разговаривали, не слыша друг друга...

О страшном финале рассказанной мною житейской истории знаю с чужих слов. Первая жена Евгения Бабляка красавица Милка погибла при так и не выясненных зловещих обстоятельствах, во внезапно вспыхнувшем пожаре, в мастерской художника-модерниста, уже известного на Западе, непризнанного у нас. Художник тоже сгорел. Странность состояла в том, что присутствовавший при пожаре Светозаренко-Драгомыщенко вышел из огня невредимым. Говорили, что он убыл за бугор, не знаю по какому мандату, там его след простыл.

Я нашел Женьку еще похудевшим, полысевшим, потраченным жизнью, но по-прежнему внутренне светлым. Ему не дала уйти на дно — преданность ремеслу, мастеровитость-талант, небоязнь работы. Он был художник Божьей милостью! Свою судьбу ковал, стоя у горна, наковальни, дорисовывал в воображении недостающую для спасения мира свою собственную красоту, воплощал ее в материале.

Евгений Логинович нашел себе новую жену (может быть, она его выглядела, не знаю); в семье родилась дочь Маша; построил кооперативную квартиру, достаточную для семью, с комнатой для Алеши. Всю мебель изготовил сам, отыскивая на чердаках и помойках причиндалы старинных петербургских гарнитуров. Особенно любил

он сооружать столешницы, капитальные, хоть чечетку на них выбивай, с выявленной древесной текстурой, с заделанными заподлицо вышкуренными углами. Своими столешницами Евгений Бабляк гордился.

Долгие годы его не пускали к родителям в Лондон — просвечивали. Видимо, так ни за что и не зацепились — выпустили. Приехали к сыну в гости и папа с мамой... из Лондона. Поогляделись. И уехали к себе на Шепердсбуш Грин...

В 1976 году я в первый раз записался в туристическую группу писателей для поездки в Англию. В то же время собрался в Лондон и Женя Бабляк. Мы договорились о месте и времени встречи, необходимых мерах конспирации; мой контакт в Лондоне с чужим мог вызвать ответные меры надзирающих.

Все вышло по-нашему, мы с Женькой допоздна шлялись по Лондону из паба в паб. Я укорял Женьку: «Что ты тратишь драгоценные фунты на пиво? Мы можем пивом и дома напиться». Женька мне отвечал: «Это мой родной город. Здесь у меня есть такие дома, друзья, где меня примут с распростертыми объятиями». В Кэмбридж-пабе в то время пианист мог исполнить любой мотив мира, какой закажут, а пьющие пиво попеть. Женька заказал ему «Подмосковные вечера», мы спели, что помнили из слов, по-русски, все другие охотно подпели на своих языках.

Заглянули мы и на сеанс стриптиза (как у нас говорят, «естественно»), тогда еще не наскучившего, особенно нам, советским. Стриптизерка явно тянула время, раздевалась замедленно, украдкой поглядывая на часы, по-видимому, ей платили повременно. На ее лице прочитывалось неудовольствие от работы, маленькой зарплаты, презрение к клиенту, как на лицах наших кассирш, администраторш, продавщиц. Женька о чем-то поговорил со стриптизеркой, она в первый раз улыбнулась.

За полночь мы малость заплутали на стритах и роудах, приведших нас в Сохо... У подъезда одного из домов трое местных мужичков о чем-то тихо спикали. Мы попросили дать нам начальное направление, как выйти, куда нам нужно. Один из мужичков, пожилой, прихрамывающий, взялся нас провести до места. Как мы ни выборматывали наши «тэнк ю», он-таки довел нас до подъезда отеля. Я пригласил провожатого подняться в номер, выпить русской водки

(рашен водка), или вынести сюда, к подъезду, но он как-то мягко, беспрекословно отказался, объяснив, что завтра рано утром ему на работу.

Я еще возвращусь к этой черте английского национального характера: не изъявить благое намерение, а совершить конкретный добрый поступок в отношении ближнего, не бросить начатое на половине, а удостовериться в желаемом результате. Ничуть не претендуя при этом на вознаграждение.

Особых волнений доставило представление меня Женькой своему старшему другу-наставнику Володе Ковальскому; из Женькиных рассказов о нем у меня не сложился сколько-нибудь реальный личностный образ; одно с другим не сопрягалось: герой войны — и непрощаемый отщепенец; патриот России — и ни малейшего позыва вернуться на родину. Я знал от Женьки, что живы мать, братья Володи, где-то в Калужской губернии (так Женька говорил, с Володиных слов: «губернии»), но он не подает им голоса, чтобы не накликать на них беду.

Мы вошли в один из домов на боковой улочке Шепердсбуш... уже не Грин, в стороне от лужайки, спустились на несколько ступеней, Женька позвонил. Нам отворил человек, довольно моложавый на вид, крепкого телосложения, с блеском или, скорее даже, с огнем в темных глазах. Он пропустил нас в полуподвал — каморку со скудным освещением; Володино жилье совмещало в себе кухню с газовой плитой, спальню, кабинет с письменным столом и мастерскую; полки заставлены книгами в старинных переплетах; на верстаке столярные, слесарные инструменты. Володя Ковальский вперил в меня свой пылающий взор, сказал: «Я в первый раз с сорок пятого года вижу настоящего советского человека». Он потрогал материю моего пальто, спросил: «Это — советская материя?» Я сказал, что польская. Володя сделал вывод: «Для меня польская все равно, что советская».

Мы выпили водки, но разговора не получилось. Володя не знал, как разговаривать со стопроцентным советским человеком, именно таким он меня воспринял; надо мною тогда довлело идиотское фанаберическое сознание какой-то высшей правоты — государственной, исторической, нашего строя... А стало быть, и моей собственной. Не только правоты, но и вполне уже непотребного

превосходства над чем-либо или кем-либо не нашим, в духе: наше дело правое, мы победили. Реактивно чуткий к оттенкам, Володя Ковальский, я думаю, уловил это мое верхоглядство — взгляд сверху на что бы то ни было — и на него, лондонского изгоя. Он жадно разглядывал, слушал, изучал меня, иногда восклицая: «О, да! О, нет!» В каморке Володи Ковальского меня не оставляло впечатление, что я пью «Московскую» (Володя дегустировал водку, спросил, советская ли она, воскликнул: «О, да!») не наяву, а опять же в мире призраков, с каким-то знакомым литературным персонажем, может быть, человеком из подполья.

Потом мы поели борща у Ольги Ивановны; к первому моему посещению квартиры на четырнадцатом этаже в муниципальном доме Вудфорт Корт Логина Бабляка уже не было в живых... О мире старшего Бабляка могу судить только по написанным им в Лондоне акварелям — он их отправил с сыном домой, в Россию, на акварелях преобладает зеленый цвет — цвет листьев, травы, одинаковый всюду, со множеством состояний, оттенков, переливов... Я слышал о Логине Бабляке, что когда он брался за кисть, то надевал чистую белую рубашку и что он работал в Пушкинских местах, до войны, задолго до Гейченко сажал там деревья... И что он мог читать наизусть чуть не всего Пушкина, Лермонтова... Я знаю также и то, что Логин Бабляк умер до времени, от рака... В свой последний срок, сознавая его малость, хлопотал о возвращении на родину; остаться лежать в чужой земле — это было невыносимо для него... Но не успел; урну с прахом Логина привезла в Ленинград Ольга Ивановна; урну предали земле на сельском кладбище в Лисино-Корпусе...

На посиделку пришли две армянские русскоязычные старушки — все, что осталось от говорящих по-русски, прилепившихся друг к дружке, в этой округе Лондона. Помню, одна из армянских бабушек спросила у меня, как по-русски «Белая кожа березы». Я сказал, что береста. Бабушка, с каким-то непричастным выражением лица, как это бывает в старости, заметила: «От бересты у меня аллергия». Другая бабушка поправила ее: «У тебя не аллергия, а ностальгия». Володя Ковальский, он тоже был с нами, воскликнул: «О, да!»

На следующий день Женька Бабляк уезжал из Лондона в Ленинград, а я еще оставался. Мы договорились, что я возьму часть его поклажи, разумеется, неподъемной. Он дал мне три увесистых

тома энциклопедического справочника начала века «Ливинг Лондон», то есть «Живой Лондон», где есть необходимые сведения о каждом из живших тогда на берегах туманного Альбиона, даже о квартировавшем в Лондоне Вольдемаре Ульянове (Женька отыскал и мне показал). «Живой Лондон» и другие фолианты, перевозимые Женькой Бабляком через границу, представляли собою подарок Володи Ковальского — России. Женька мне объяснил: Володя покупает имеющие по его понятию ценность книги и отправляет их с оказией к нам. Не кому-либо поименно, а просто — в Россию. Может быть, там пригодится.

Запрещенные тогда к провозу вещи, например, сочинения русских философов: Соловьева, Бердяева Женька перевозил, прибегая опять же к собственным приемам конспирации. От меня он их не скрывал: «Перед самым досмотром я захожу в туалет, сижу в нем, пока пойдут таможенники. Книги и все другое в полиэтиленовом мешке засовываю в толчок, закрываю крышкой. На время досмотра туалет запирают. Процедура закончится, таможенники уйдут, я уже стою у туалета, пританцовываю, делаю вид, что мне не терпится, вхожу первым. Конечно, есть риск попасться, но пока проносило». Теперь можно раскрыть Женькины секреты: Бердяева с Соловьевым продают у нас на каждом углу... Воздадим должное расчетливому на английский манер, но по-русски легкомысленному риску конспиратора; сообразим, что ставилось на весы: если бы он хоть раз попался, его бы больше не пустили в Лондон, и в отечестве небо стало бы ему в овчинку...

Через десять лет после первого посещения я опять приехал в Англию с туристической группой. В таких поездках сразу выявляется, кто с кем может быть или не может, ну да, психологическая совместимость. В этот раз я близко сошелся с писателем Вячеславом Кондратьевым, в прошлом фронтовиком, не состарившимся, телесно и внутренне крупным, угловатым, абсолютно неуклончивым — в образе поведения и суждениях, с зычным мужским голосом, внятной дикцией, правильной русской речью, разнообразным жизненным опытом, завидной памятью, собственным углом понимания явлений, то есть сильным умом. Ну, разумеется, пьющим, курящим, ничуть не берегущим себя. Собственно, все перечисленные качества составляют то, что Лев Николаевич Толстой называл: настоящий мужик. Еще и талантливый, возлюбленный мной до личного знакомства, по его

повести «Сашка» Я позвонил Ольге Ивановне, спросил у нее разрешения придти с товарищем, воевавшим; может быть, Володе будет с ним интересно повспоминать о войне. Ольга Ивановна, со щепетильной непосредственностью подданной английской королевы, осведомилась не из КГБ ли мой товарищ. Я заверил, что нет, и нас с товарищем пригласили на традиционный борщ. Не как у нас: «Здравствуйте! это мы, ставьте поллитру», — а нам назначили время борща.

Оказалось, что Слава Кондратьев и Володя Ковальский побывали в передрыге под Ржевом, даже в одной дивизии. Впервые при мне Володя разговорился. Я узнал от него, что его отец погиб в коллективизацию, сам он беспризорничал, сидел в колонии. «Я был антисоветчиком», — заверил нас Володя, как-будто мы его подозревали в чем-то противоположном. Вспоминая о войне, он гнул свою линию, доказывал нам, что вариантов у него не было, только этот, лондонский в итоге. Например, такой сюжет. Где-то в сорок третьем году над расположением Володиной части появился немецкий разведчик — «рама». По «раме» лупили из автоматов, ручных пулеметов, пистолетов. «Рама»-таки задымила и рухнула. За сбитый самолет сбившему полагалась награда. Политотдельцы предложили Володе как старшему по званию из свидетелей письменно подтвердить, что сбил «раму» такой-то. «А я не видел, — уперся Володя, — я сидел в блиндаже. И отказался писать. На меня они стали косо смотреть. И потом под меня копали». Казалось бы, чего проще: ведь требовалось показание на награду, не на расстрел, но Володина натура не приняла насилия.

Рассказанный сюжет Володя представлял как подвижку к последнему фатальному шагу.

О шаге рассказывал примерно так: «У меня не было другого выхода. Они бы со мной все равно расправились. Я был антисоветчиком, говорил то, что думал. О, да! Ушел и сдался американцам. Они недолго меня подержали, без конвоя, посадили в джип, повезли сдавать нашим. Это меня не устраивало. О, нет! Дорога забита, ехали медленно. Остановились в лесу, я и драпанул. Погони за мной не было. Ну, а там в лесу поляки... Приняли меня как своего, дали во что переодеться. Ну, а дальше... О, да!»

«Только не вздумай возвращаться в Советский Союз, — наставлял московский ветеран войны лондонского ветерана. — У нас не жизнь, а сплошной кислотный дождь. Вот посмотри на Глеба, — он указал на меня, — ему чуть за пятьдесят, он в сравнении с тобой старик; тебе за семьдесят, а ты как огурчик. Что значит доброкачественная еда и когда на тебя не давят».

«О, да!» — не то согласился, не то задумался Володя Ковальский.

Я спросил у него, не скучает ли он все же по родине, по родным. Он ответил: «Нет, не скучаю. Это прошло. Но у меня есть постоянная тоска. Я с ней ничего не могу поделать. Вот только книги. Но сейчас в Лондоне не купишь настоящую вещь, все расхватали американцы. Магазин «Коллетс» подожгли за то, что в нем продавали книгу Рушди «Сатанинские стихи», после пожара там ничего нет...»

К той поре стоящую на столе бутылку виски мы уже опорожнили, Слава Кондратьев своим зычным голосом потребовал: «Давай еще шнапсу!» Было уже поздно, магазины в Лондоне, как и повсюду, закрыты, но Володя куда-то сходил и принес. Нам стало утешно.

Когда Володя ушел за выпивкой, Ольга Ивановна поделилась с нами Володиной и своей бедой: «Когда он не пьет, то золотой человек, но у него бывают запои, ему не остановиться. За ним надо ухаживать, как за больным ребенком. Он бы погиб, если бы не я...»

Ковальский — такую фамилию Володя сам для себя придумал.

О безысходной иррациональной тоске русского человека на чужбине я знаю книгу моего любимого писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова «Чижикова Лавра». В двадцатом году матроса Ивана Соколова вместе с командой русского парохода интернировали в Англии; извелся, пока не вернулся в Россию. Бывают русские — приживаются в чужих странах, и то большей частью вынужденно. Тут нечто непереступаемое, генетическое, по теории Льва Николаевича Гумилева, определяющий признак этноса. И живут, а не могут.

В последние годы — и в предпоследние, долго, — Евгений Логинович Бабляк преподавал художественную обработку металлов в своей альма-матер, училище имени Мухиной. Студенты, я знаю, любили, может быть, боготворили своего учителя, каких не бывало ни до него и после не будет, — за его абсолютный, неведомый нам демократизм в отношении старшего к младшим, за невозвышение себя

над кем бы то ни было. Уважение к учителю выковывалось у горна и наковальни, когда ученики видели, как под рукою мастера рождается настоящая вещь. И, конечно, за задушевные философические беседы, в которых Евгений Логинович всегда был горазд, в своей зрелости обрел не подавляющую, всем открытую мудрость. И — ангельская Женькина искренность-простота-доброта.

И еще любимым детищем Евгения Бабляка была его мастерская, он ее таки выбил — в подвале нежилого дома на Аптекарском острове, с камином, горном, наковальней, всем другим, необходимым для осуществления идеала свободы-воли, то есть счастья как понимал его кузнец. У себя в мастерской Женька Бабляк жил, как ему хотелось, наваривал большую кастрюлю супа с мозговой костью — для всех проходящих. И для чего-то выучился отменно наяривать на балалайке; всякий раз кульминацией нашей с ним посиделки служил балалаечный перепляс; Женька выдавал его с отчаянной лихостью, с припевками, каковых тоже изрядно поднабрался.

В это время Евгений Логинович выполнял свой последний (не знал, что последний) проект — интерьер художественного музея в Самаре. Он мне показывал бронзовые лепестки для будущего светильника, орнамент лестницы, эскиз люстры... Все как бы происходило из вкуса губернского дворянского собрания прошлого века, но было и единственным, штучным, современным, только что родившимся в руках у мастера.

Я слышал, что дипломные проекты у Бабляка отличались неординарностью, свободой фантазии и обязательно строгостью вкуса, совершенством исполнения.

Через подвал Бабляка текли потоки разнообразных личностей, компаний. Не различая, что от души, что от лукавого, хозяин подвала предавался каждому гостю со всей неумностью своей не обросшей с годами защитной оболочкой натуры. Изящно сухопарый смолоду, он сделался к своим пятидесяти изможденным, как изработавшийся одер. Но я ни разу не слышал от него жалобу на нездоровье, не заставлял в меланхолии; от него по-прежнему исходил свет. И над ним всегда витало облако опасности; бывало тревожно за этого человека, живущего нараспашку, вразнос, без средств самосохранения в этом яростном — да! — но отнюдь не прекрасном мире.

В один из хмурых предвесенних дней мне позвонил Женькин сосед по подвалу, тоже подвальный мужичок с медленно осуществляющимися художественными задатками, сказал загробным голосом: «Ты знаешь, умер Женька Бабляк?..» Он умер от безобразно запущенной язвы двенадцатиперстной кишки, может быть, изболевшей во что-то другое. Его взяли на операционный стол по жизненным показаниям, то есть когда ничего другого не оставалось. Врезали, зашили, он вскоре умер.

Его похоронили на сельском кладбище в Лисино-Корпусе, в том месте, где он родился, вместе с отцом. Отпевали раба Божия Евгения в маленькой церкви при дороге. Мне запомнился батюшка, с простым крестьянским лицом, носом картофелиной, как он отнесся к службе по-домашнему, будто принимал гостей у себя в избе, каждому посмотрел в глаза добрым сострадательным взором. На кладбище явилось множество народу, в основном, молодняк, студиозы. На могилу водрузили крест, изготовленный лучшими руками в мастерских училища.

Ольга Ивановна приехала только летом, ее свозили на могилу. После они пришли к нам всей семьей: жена Ирина, дочь Маша, бабушка Ольга — Бабляки... Ольга Ивановна курила тонкие английские сигареты, обволакивалась дымом, собирала морщинки у глаз — не плакала, говорила, что теперь у нее на попечении последнее дитя — Володя в Лондоне; он после Жениной смерти стал как бы не в себе. «Он очень замкнутый, — сказала Ольга Ивановна, — только с Женей мог поделиться, когда тот приезжал, а теперь стал пить, вот какое горе».

Когда я написал все, что упомянул о моем друге Евгении Бабляке, то подумал... То есть я знал, что это не тот Бабляк, каким он представлялся перед другими людьми, перед самим собой, а только бледный оттиск моего собственного воображения. И я дал прочесть вдове Евгения Логиновича Ирине...

— Вообще-то спасибо, — сказала Ирина, — что про Женьку вспомнил, но он, знаешь, не только был Женька, не только на балалаечке играл, но и очень умел себя поставить... Евгением Логиновичем, умел держать дистанцию... И мне показалось, что ты как-то его принижаешь, что он у тебя все больше с молотком, с мастерком... А он же работал над сложнейшими проектами и

постоянно задавался философскими вопросами, и студентов своих втягивал в сложные диспуты... Он у тебя получается каким-то несчастным, а это не так, ему всегда давали отличные заказы, он всегда на виду, к нем относились с интересом как приехавшему из Англии...

И еще неизвестно, как у них вышло с его первой женой Милкой, там у них сразу отношения не сложились, Женя, может быть, первым от нее ушел... И я сомневаюсь, чтобы он какие-то книги от таможенников в уборной прятал. Может быть, это он тебе просто так рассказал, он был мастер рассказывать. Если он что перевозил через границу, то никогда не рисковал. Разве что томик Бердяева в карман клал — как повезет...

Из комментария Ирины к моему портрету ее покойного мужа вырисовывался совершенно другой Евгений Бабляк, нежели тот, какого я знал... И я оставил в моем портрете все как было написано, как я запомнил...

В декабре 1989 года сижу на кухне в квартире Ольги Ивановны Бабляк, на Шепердсбуш Грин. У Володи запой, он только и сказал мне: «Голова моя пуста», отгреб в свою каморку, не показывается. Ольга Ивановна сказала: стесняется.

Хозяйка ушла купить немецкой ветчины — хама; немецкий хам хотя и подороже, но это — нежный вкусный хам; английский хам солоноват — оттенки, совершенно нами не улавливаемые.

На дворе мокро, туманно, поливает дождь (рэйн), как у нас в Ленинграде в октябре.

## VII

Однако еще раз вернемся... к нашим фазанам в Бэбингтоне. Может быть, Бэбингтон от бэби?

Близко в памяти у меня, как во всецело некурящей, телесно и духовно здоровой провинциальной Англии генетически благополучная Мэри Грэгг по утрам выходит на заднее крылечко, ведущее в садик, курит в одиночку. И так быстро у нее проливаются из глаз слезы. Мэри

плачет... Потом садится за пианино, наигрывает старинные английские мотивы в духе «кантри». Никакого рока, попа в этом доме, как и в других подобных ему домах, не ночевало. Хотя близлежащий Ливерпуль — родина битлов...

Вечером Дэвид Грэгг выволок из своей домашней обсерватории на улицу телескоп. У него два телескопа, один медный старинный, с длинной трубой, другой современный американский. Дэвид сказал, что купил медный телескоп в шопе редкостей, в 1964 году, за десять фунтов. Между тем вся оптика в нем вери велл, через нее Луну хорошо видно. Тут же Дэвид пошутил, что если не видно Луны, из-за тумана, то можно увидеть обнаженных леди в госпитале (хоспитэл) на той стороне реки.

Было туманно, летели облака. Дэвид выволок наружу американский телескоп, с супероптикой, весящий не менее трех пудов, направил его на Луну. Моя жена смотрела первой, со свойственной ей впечатлительностью вскрикнула захолонувшим голосом: «Ой, вижу! Вот она Луна!» Я глядел, вначале не было ничего, но вдруг прорвало, стало видно Луну как пористую известняковую поверхность какого-то другого берега. Дэвид направил жерло телескопа не вверх, а под острым углом к ровности лужайки, сказал, прошу вас, можно увидеть обнаженных леди в госпитале. В окуляре, правда, что-то замельтешило, может быть, леди. Но почему же обнаженные? спать еще рано, к тому же спят под одеялами, скорее всего, в пижамах. Если на осмотре у лечащего врача, то максимум одна леди... Дэвид предупредил, что леди могут быть увидены в оптику телескопа в перевернутом виде, вверх ногами. Тут больше было розыгрыша, английского юмора, миста — тумана, чем астрономии. Но телескоп был вполне реален, по-американски совершенен, весил не менее трех русских пудов. Столько весит хобби Дэвида Грэгга; в телескоп он наблюдает небесные светила, делает какие-то свои выводы.

В быстрой, летучей, улыбочивой своей манере Дэвид показал нам снятый им видеофильм, о том, как всей семьей Грэгги и всей семьей Шерманы куда-то ходили в горы.

Все ушли в город, я один в лондонской квартире, передо мной на полках книги — часть библиотеки Володи Ковальского; в многотомной

Британской энциклопедии (Володя знает английский; Ольга Ивановна говорит на русский манер, без какой-либо английской артикуляции) нахожу многочисленные пометки ее усердного читателя; еще от Жени Бабляка знаю, что Володя погружен в лингвистические изыскания: найти славянские корни в англосаксонских словообразованиях. Он совершенно убежден в приоритете славянизмов, руководствуется в своем труде энтузиазмом патриота — восстановить истину.

В библиотеке Володи Ковальского сочинения русских философов, не издававшиеся у нас; видно, что хорошо проштудирован Николай Бердяев. Достаяю с полки труд Артура Шопенгауэра «Афоризмы житейской мудрости», изданный в Санкт-Петербурге в начале века, нахожу в нем созвучное собственным умозаключениям: «Человек избегает, выносит или любит одиночество сообразно с тем, какова ценность его «я». В одиночестве ничтожный человек чувствует свою ничтожность, великий ум — свое величие, словом, каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. Чем совершеннее создан природой человек, тем неизбежнее, тем полнее он одинок...

Будем откровенны: как бы тесно ни связывали людей дружба, любовь и брак, вполне искренно человек желает добра лишь самому себе да разве еще своим детям».

Чувствуете, какой благозвучный, по-русски нюансированный перевод?!

За окном в Лондоне ясно-осенний день. На моем сердечном барометре стрелка чуть подалась в сторону «ясно». Не ясно, но перемененно. На лондонском небе заголубело (блю ский), нет ни пряди тумана. Над Шепердсбуш Грин летят чайки: Лондон — город морской. На лужайке выстроили преогромный балаган для карусели, покружатся на Рождество (Кристмас).

Я смотрю на Шепердсбуш Грин с четырнадцатого этажа. Звуки доносятся снизу такие же, как в нашем городе, всюду. Черепичные островерхие крыши старых строений — одинаковые, ровень: жилой фонд не очень имущих, но достаточных для домовладения жителей Лондона.

Скоро, скоро завертится рождественская карусель. Может быть, может быть, может быть. Мэйби, мэйби, мэйби...

Можно бы поставить точку... но есть еще кое-что в карманной книжке. Вот, например:

В краю Озерном налегке,  
Невпрок, приватно, без прописки  
Истомно спал на чердаке,  
Напившись у камина виски.  
Зима стучалась впопыхах  
В окно, звенящее как льдинка,  
Труба звучала в облаках...  
В трубе свербящая сурдинка.

Я вернулся домой, вдыхаю нашу знобящую сырость, переживаю, может быть, нечто подобное тому, что пережил когда-то приехавший из Англии мой друг Женя Бабляк, — свободу, волю: куда угодно пойти, поехать, с любым заговорить на понятном ему и мне языке, зайти в торговую точку, скорее всего, ничего не купить, но сознавать, что если было бы, то купил бы. То есть испытывать вполне телячий восторг от возвращения в родимое стойло.

Но во мне, со мною, на мне (купленные на распродаже в Шепердсбуш куртка и кепка) — Великобритания (Грэйт Бритэн): лица, встречи, сцены, картинки...

В Ливерпуле мы вдруг оказались на приеме у Жоселины. О, Жоселина! В ее жилище горел огонь в камине, передняя стена представляла собой зеркальное окно, за окном парк со смуглоствольными платанами, дубами, кленами, ручей, зеленая лужайка с пасущимся на ней гнедым конем. Жоселина — высокая девушка, в джинсах, свободной блузе, остроносых сапожках, с темными прямыми волосами, напущенными на лоб, как у моей жены, зелеными глазами — героиня ковбойского фильма. О, Жоселина!

Хозяйка дома приносила одну за другой бутылки с шампанским. Бутылки выстреливали, вино шипело. Закусывали крохотными сэндвичами, от которых во рту оставалось благоухание. О, Жоселина!

На приеме был среднего возраста профессор, с мягким, вдумчивым выражением лица, по имени Питер, похожий на такого же нашего профессора гуманитарных наук. На интеллигентном русском языке он сказал, что его предмет — классическая русская литература, что он преподавал русскую литературу на славянской кафедре в Ливерпульском университете. Но железная леди Тэтчер сочла излишней роскошью данный предмет, преподавание его — нецелесообразным. Леди Тэтчер приехала в Ливерпуль, после чего кафедру закрыли. «Теперь я преподаю французскую литературу», — сказал профессор русской литературы Питер, мягко улыбнулся, пригубил шампанское.

Жоселина сказала, что приехала из Австралии в Ливерпульский университет, чтобы написать и защитить диссертацию по социологии, получить соответствующую (может быть, бакалаврскую) ученую степень, что это — университетский дом, аспирантская квартира. В ее рабочем кабинете персональный, Жоселине принадлежащий компьютер; Жоселина мне показала, как с помощью клавиш воспроизводятся на экране приходящие ей в голову мысли, как правятся фразы — отливаются в пристойную науке форму, — тут же отпечатываются, превращаются в страницы диссертации. Жоселина сказала, что осталось дописать последнюю главу, защититься и гуд бай, Ливерпуль! домой в Австралию.

Хозяйка всех пригласила из гостиной в столовую. Я заметил, что стены столовой в аспирантской квартире австралийской красавицы, звезды ковбойского фильма Жоселины, представляют собой ячейки, из каждой выглядывала бутылочная головка — шампанского или другого вина. В ходе нашего застолья бутылки извлекались из ячеек, подавались на стол, но большая часть запаса так и осталась невыпитой, что совершенно невозможно у нас в Отечестве.

Для русских гостей Жоселиной был специально сварен гороховый суп, употребляемый и в Австралии. Жоселина сказала, что когда защитит диссертацию, вернется домой, то купит ранчо в австралийской саванце, будет скакать на конях и писать романы с любовным сюжетом.

Я чистосердечно открыл Жоселине, что и мой идеал тот же, что у меня давно куплено ранчо на севере в русской тайге, что я сколько угодно скачу на конях моего воображения. На прощание мы с Жоселиной долго смотрели в глаза друг другу. Жоселина воскликнула: «О, Глеб!» Я воскликнул: «О, Жоселина!»

Ковбойский фильм закончился, наступило затемнение. О, Жоселина!

Однажды за нами в Дорридж заехала Элисон Грант — помните? воробышек, или скорее, скворчонок, преподаватель русского языка в школе Солихалла. И повезла нас к себе в деревню Хэсли Ноб, в округе Ворвик. Ее с мужем Питером деревенский дом примерно такой же, как другие английские дома. В семье Грантов два лопоухих пацана, их, в основном, воспитывает Питер.

Элисон сказала, что, как заведено у русских, надо выпить водки, она научилась пить водку. Принесла литровую бутылку «Смирновской», препоручила мне всем налить в большие рюмки; пригубили и больше не прикоснулись. Бутылка осталась невыпитой.

В гостях у Элисон вместе с нами была ее учительница русского языка Нэста Прилуцкая, приехавшая откуда-то на своей «Кортине», по виду и разговору совершенно русская женщина. Нэста сказала, что когда полетел первый русский спутник, ее послали на курсы усовершенствования в какой-то, не помню, университетский город. Случай свел ее там с живущим в этом городе русским Женей Прилуцким; они близко познакомились и поженились. Женя попал на войну студентом МГУ, оказался в плену, после войны — в Англии, работал на текстильной фабрике. В семье разговаривали только по-русски; детей у Жени с Нэстой не завелось. Несколько лет тому назад Женя умер. Когда началась у нас перестройка, Нэста побывала в Москве в семье Жениного брата, брат с семьей тоже гостили у нее.

Элисон сказала, что Нэста научила ее русскому языку, что она может думать по-русски; Нэста привила ей любовь к предмету; так определилась судьба Элисон.

В окно дома Грантов в деревне Чесли Ноб было видно, что возле ближайшего (все же на порядочном расстоянии) дома припарковались, в разных позициях, пять автомобилей. Там же паслось несколько ослов и маленьких осликов. Элисон сказала, что в этом доме живет зубной

врач, самый богатый человек в деревне. Он в детстве полюбил ослон, но родители отказали мальчику в удовольствии иметь собственного ослика. Как только мальчик встал на ноги, сразу же обзавелся ослиным стадом. И еще он любит моторы, их пять в семье зубного врача.

В заключение нашего визита в Челси Ноб Элисон свозила нас к сохранившейся кирпичной основе строения семнадцатого века, поодаль от деревни, сказала, что они с Питером решили купить сей реликт, достроить, бросовую землю вокруг возделывать под сад; здесь хорошо будет детям.

Хелло, Элисон! Да поможет вам с Питером Бог! Бывает же он благосклонным к благим намерениям добрых людей.

## IX

И, наконец, Маша Пущина-Вильямс, правнучка того, кому — помните? посвятил строку Пушкин: «Мой верный друг, мой друг бесценный!..» — Ивана Ивановича Пущина.

Живи она в восемнадцатом веке, ее портрет написал бы Рокотов: царственность осанки, крупный план породы — и женственность, кротость выражения глаз, со столь же ясным умом во взоре, неторопливостью жеста... Хорошее есть у нас слово (почти позабыто) — прозорливость, — очень точно передает свойство Машиних глаз: поглядишь в них и себя увидишь, каков ты есть.

В первый раз я встретился с Марией Лаврентьевной Пущиной-Вильямс в обществе дружбы в Лондоне, в 1986 году, был приглашен к ней в Хэмпстед Вэй — парковую зону, где живет аристократия: лорды, пэры. Ее мужем был мистер Вильямс, лорд, посол Соединенного королевства в Ираке, Чили, Соединенных Штатах...

Маша Пущина приехала в Англию с семьей в 1917 году, с первой волной эмиграции. В 1945-м, в качестве переводчика русского языка, в составе английской миссии, оказалась в Вене. Какую-то важную роль в миссии играл мистер Вильямс...

В Вене Маше довелось переводить переговоры — и так, беседы за столом — маршала Конева с англичанами. Можно предположить, что

маршалу приглянулась русская волоокая красавица Маша, он ее предпочел другим переводчикам. Из Вены Маша Пущина вернулась в Лондон леди Вильямс. Мистер Вильямс тоже понимал толк в женских статьях.

Большую часть жизни Мария Лаврентьевна провела в должности супруги посла Великобритании в разных странах. Пытливый ум, непосредственность натуры помогли ей вынести, сохранить в памяти множество самых разнообразных впечатлений. Мистер Вильямс ушел в иные миры; в родовом доме Вильямсов «Морланд Клоуз» (есть еще вилла в Уэльсе), в парке Хэмпстед Вэй, под сенью берез и дубов, с помощью персонального компьютера, Маша Пущина-Вильямс написала свою первую книгу мемуаров «Белые среди красных» (Вайт эманг ред) — о первом знакомстве с советскими, красными, в Вене, на пиру победы, среди руин и пепелищ.

Маша мне подарила эту книгу, прекрасно изданную, с цветными вклейками, запечатлевшими исторические моменты, с маршалом Коневым, персонами союзных войск на переднем плане, с портретом автора, какой тогда была Маша: серьезная милая девушка с копной мягких русых волос.

Книга очень личная; непосредственное переживание «белого среди красных» преобладает в ней над скрупулезностью мемуариста: от недоверия, страха, ненависти, бездны неведения до первых подвижек навстречу друг другу, приоткрывания душ... Под маршальским панцирем Конева вдруг явило себя нечто неизъяснимо русское, доброе, как память о детстве...

Единственно, что сообщает книге тепло сочувствия, равно как и личности человеческой, так это душевная отзывчивость, открытость любви. Такова книга Маши Пущиной-Вильямс «Белые среди красных».

В последующие годы Мария Лаврентьевна написала книги об Ираке, Чили, Соединенных Штатах — с точки зрения жены посла Великобритании. Надо будет прочесть, наверное, и там интересно.

Кстати, забегая вперед... Уже в последнее наше свидание в «Морланд Клоуз», в декабре 1989 года, я спросил у Марии Лаврентьевны, как расходятся ее книги, каждая из которых представляет собой дорогое, по нашим понятиям, «подарочное» издание. Знает ли она своего читателя? Маша ответила, что понятия не

имеет; раз издадут, стало быть кому-то это выгодно, иначе бы не издавали. И еще Маша сообщила мне интересную деталь обратной связи читателя с писателем в Англии, совершенно невозможную у нас: за каждое прочтение книги данного автора в библиотеке автору начисляется гонорар. «Это сущие пустяки, — сказала Маша своим грудным низким тембра голосом, — за последнее время мне перевели семь фунтов с чем-то...» Я спросил, из каких это средств. Маша улыбнулась обезоруживающей улыбкой: «Не знаю, очевидно, из муниципальных».

В декабре 1989 года в Лондоне я позвонил Марии Лаврентьевне Пущиной-Вильямс, получил приглашение пожаловать с семьей на фэйф-о-клок — английское чаепитие. Ну, хорошо, мы взяли такси, сели в четвероугольный черный кеб с маленькими колесами, способный разворачиваться на пяточке, с шофером впереди справа, защищенным от салона пуленепробиваемым стеклом, с трехместным сиденьем сзади, двумя откидными креслами — поехали. В дороге нам выпал случай еще раз удостовериться в обязательности англичанина по отношению к ближнему, его ненавязчивой покладистости: у нашего кеба забарахлил мотор, таксист попросил не беспокоиться, взял нам другой кеб, отказался от платы за проеханное.

Мария Лаврентьевна вышла нас встречать. Она живет в доме вдвоем со взрослой дочерью Линой, знающей по-русски, но стесняющейся при русских говорить. Чай подавался, как в большинстве английских домов, с молоком по вкусу, с карамелями и бисквитом. Из трапезной мы перешли в гостиную, по-видимому, служившую некогда кабинетом хозяину, с его портретом, старинными гравюрами на стенах, кожаными массивными креслами. Спокойствие, основательность, выдержанность стиля, тишина стен этого дома, а также величественная простота (или простое величие) хозяйки, хорошо поработавшей с утра у компьютера над своим очередным сочинением, располагала к беседе надбытовой, о чем-нибудь общеважном. По обыкновению, смягчая высказывания улыбкой, Мария Лаврентьевна поделилась с нами, очевидно, выношенным заключением ума: «Только не надо вам копировать чей-то исторический пример, не надо строить в России капитализм. У вас это может не получиться. У России свой путь, я не знаю, какой, но у вас не

может стать как у нас в Англии... Сейчас у вас много советчиков, но надо верить себе». Как видим, английская аристократка, наследница русского аристократического рода Маша Пущина-Вильямс шпарила почти дословно по Тютчеву: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать — в Россию можно только верить».

Следуя нити своих размышлений, хозяйка дома высказала еще и такое предположение: «Черчилль был умный человек. И хитрый. Когда он произнес свою речь в Фултоне... считается, что с нее началась холодная война... Я не думаю, что он тогда верил, что Сталин нападет на Европу. Он знал, что у России нет сил продолжить войну. Англия тоже порядочно пострадала. Он сказал свою речь в Фултоне, чтобы побудить Америку оставить войска в Европе, взять на себя расходы, чтобы сделать Германию сильной. Черчилль защищал интересы Англии. Так все и вышло».

Дочь Марии Лаврентьевны Алина довезла нас до ближайшей к Хэмпстед Вэй станции метро...

Доброго Вам здоровья, Мария Лаврентьевна! Дай нам Бог еще когда-нибудь повстречаться.

## X

На обратной дороге все шло гладко, как это заведено в Европе, поезда следовали один за другим, строго по расписанию, в вагонах нам находились места, соседи попадались улыбочивые. Куда-то ехал американец-студент из Флориды, о чем-то они живо поболтали с Катей. Потом рядом сели две белокурые, кровно-породные молодые немки, с пухлыми губами, устроенными не как у наших, а на заячий манер, все время хихикали. Еще ехала камбоджийка Фе-Лу, студентка Сорбонны, на Рождество к подруге в Варшаву, тоже смешливая, востроглазая, как пушистый зверек.

В Кельне мы сели в экспресс Кельн-Варшава, даже и мысль нам не пришла о какой-либо передрыге в пути. Но поезд переехал из Западного Берлина в Восточный и тут застрял, дальше ни с места.

Публика забеспокоилась, поползли разноречивые слухи: поедем — не поедем, туда — не туда. Мы оказались на стыке двух Германий (то есть уже в пределах Восточной), в исторический момент слома границы между ними, смены караула в ГДР, со всеми вытекающими из слома последствиями (включая и остановку нашего поезда). В вагон вошел служилый немец, по всему виду восточный, с таким же злым выражением на лице, какие бывают у наших служилых, стал всех выпроваживать: «Ком хер аус!» (Я уловил именно это, потому что в зубах завяз первый школьный немецкий стишок: «Маус, маус, ком хер аус!» Мышка, мышка, выходи.) Я стал объяснять, что «Вир фарен нах Варшава...» (тоже из школьного немецкого: «Вир фарен нах Анапа»). Он злобно прокартавил: «Нихт дискуссирен!» — отставить разговорчики! Что было делать? Мы вылезли на перрон, где над прибывающей толпой едущих сгущалась туча неизвестности, совсем как у нас. Подошел советский поезд Берлин-Москва, высунулись наружу советские мутнолицые проводники. На мои униженные мольбы взять до Варшавы одни огрызались, другие не достаивали ответом. Наш советский поезд ушел, неизвестно кого увез. По опыту знаю, чем труднее у нас достать билет на самолет или поезд, тем больше незанятых мест окажется именно в нем. Почему так? Поди угадай!

Когда подали к перрону состав Берлин-Варшава, польский, началось вавилонское столпотворение, то самое, что, я помню, бывало у нас сразу после войны, когда брали штурмом «пятьсот веселый». Не составляло труда угадать, что едут домой поляки, работающие в Германии, разумеется, западной — на рождественские каникулы, навьюченные чемоданами, баулами, ящиками, торбами с фээргэшным барахлом. Всю эту прорву багажа принялись запихивать в открытые изнутри окна, громоздить в узком проходе. Сидячие места оказались занятыми. Наше семейство, по виду контрастирующее с толпой, все же пустили в вагон, даже порасступились: поляки — не мы, европейцы. Влезли в вагон, втянули наши скромные пожитки и зависли в проходе, где рука, где нога, где тулово. Поехали, закультыхались.

Поляки тотчас достали из загашников фээргэшную водку (по-польски вудку) — славянская душа одна у них и у нас — принялись шастать из одной компании в другую, оттаптывать нам ноги; мы прижимались к стенам, как распятый Христос ко кресту. Ехали одни

мужики; выпили, загомонили, заприметили свечечкой стоящую у окна нашу Катю, стали к ней подъезжать: «Дуже добжа цурка» («Очень хорошая дочка»). Вытеснили ей местечко в одном из купе... Так у нашей семьи появилось одно сидячее место на троих: Катя посидит, потом мама и папа.

Опять же благодаря свойствам славянской души, расположенной к кумпанству, на каком-то отрезке пути я оказался втянутым в прикладывание к бутылке, в общую толковищу. Польская речь перемешивалась с российской. Поляки удивились, что мы советские, думали, что другие. Советские ездят в советских вагонах, в этих не ездят.

Поляки ехали разные, двух одинаковых Хомо Сапиенс не бывает, но говорили об одном, изливали души: работать на чужбине у капиталиста тяготно, но другого выхода нет, дома не заработаешь доляров (в Польше доллар зовут доляром), а без доляров по-человечески не проживешь. Жить по-человечески для поляка означало занять свою хоть какую собственность, завести дело или дельце.

Заполночь поезд въехал под свод Варшавского вокзала.

25 декабря 1989 года. Варшава. Самое странное в том, что грачи прилетели... в садик к Анджею Беню, на улочке Лехоня, в первое утро Рождества Христова. Черные грачи важно ходили по зеленой траве, далеко вперед вытянув большие, прямые снизу, поверху закругленные, не то, что белые, но светлые в сравнении с оперением носы. Саврасова не хватало — написать и этих варшавских зимних грачей.

Прилетели грачи, а Саврасова нет...  
От небесной свечи желтый теплится свет.  
На дворе Рождество. Святый высится крест.  
Безутешно, мертво стынет град Бухарест...

Молодо, не по-зимнему (поляки говорят: дуже зимне, стало быть, очень холодно) зеленели елочки, посаженные Анджеем Бенем двенадцать лет тому назад в собственном, на английский манер садике

на улице Лехоня: Анджей живет на первом этаже двухэтажного дома, со стеклянной дверью в садик; елочкам-саженцам тогда было по два года, теперь они выросли в мой рост, некоторые пошли вширь, в крону, в хвою.

Пришла бывшая жена Анджея Ванда, по-польски женственно-неувядающая; бывший муж с бывшей женой взяли пилу, спилили одну из елочек — на Рождество; Ванда наломала еловых веточек, поставила в глиняный горшок — Анджею, а елочку унесла в то место, где нынче ее пристанище, пока что без мужа, Бог знает где...

С этого места можно начать повесть о странной, призрачной жизни моего сердечного друга (пшиятеля) Анджея Бенья, но я не выяснил для себя, можно ли героем повести, выражаясь по-польски, заангажировать живущего въяве человека или же надо интерпретировать (опять же, по-польски) его в образ, может быть, даже и типизировать. С этой нерешенностью главного я так и пребуду, всегда поспешая за быстро идущей мимо действительностью, доверяясь ей, как любимой, вдруг хватаясь за сердце; ах, любимая уже не та... Мне всегда ближе, милее портрет с натуры, написанный на пленэре, ну вот хотя бы на фоне елочек в саду Анджея Бенья.

Я шел по жизни без опаски,  
Срывая походя фиаски...

Знаю, что слово «фиаско» не имеет множественного числа, но можно же поступиться грамматикой ради свободы самовыражения, обретенной на волне гласности.

Мой друг Анджей Бень потерпел фиаско на избранном пути переводчика художественных текстов с русского на польский. Нынче Анджей продает плохонькие книжонки (ксенжки) в одном из подземных переходов под Маршалковской. Впрочем, попадаются и приличные книги: томик Чехова, Солженицын, Норвид... Анджей изучил психологию прохожего, в его изложении она такова: «Какой-нибудь (это он, Анджей, так говорит) мужик раз пройдет, два пройдет,

увидит, что я стою на месте, не гастролер, — остановится и купит. Не обязательно прочитает, но купит».

Вырученных денег Анджею Беню хватает на махорочные сигареты, на свеклу (на Рождество поляку без свекольного супа с ушками и грибами никак нельзя, равно как и без рыбы-сазана). Взрослый сын Анджея и Ванды тоже продает книги под Маршалковской. Впрочем, он уже поработал на заводе не то в Австрии, не то в Италии, поимел в кармане доллары; ежели не прокормит семью книготорговлей, опять найдется и уедет, как множество поляков.

По вечерам вместе с Анджеем к нему в дом приходят его компаньоны по распродаже книжек, пан и пани, хлюпающие покрасневшими на стуже носами, раскладывают дневную выручку, что книгодателю, что себе, распивают на троих бутылку вудки, закусывают соленым огурцом, раскуривают махорочные сигареты. Оговорюсь, так было до Рождества, в Рождество католики воздерживаются от спиртного.

Анджеева компаньона я где-то встречал, и он меня знает. Вспомнили: мы встречались в редакции журнала (магазина) «Поэзия», он — поэт, печатал в «Поэзии» свои стихи. А я... редактировал тогда один из советских журналов, у моего журнала был договор с «Поэзией» о творческом содружестве, тогдашний редактор «Поэзии» Богдан Дроздовский доводился мне пшиятелем (нынешний редактор Марек Вавжкевич — мой друг бесценный; мы с ним еще почеломкаемся, учредим посиделку в Варшаве).

Во время нашего — нашей семьи — визита Анджей Бень спал на полу в своей рабочей комнате, вповалку с любимыми псами Булей и Букашкой. Булю я знал еще в мой первый визит в Варшаву, Букашка ее дочка. Анджей представил мне своих четвероногих пшиятелей, черных с подпалинами (скорее, членов семьи): желаборжские дворняги. Желаборж — район Варшавы... А мы спали кто где, трапезничали на кухне. В рождественские каникулы все магазины в Варшаве закрыты, так что...

Однако, краткая справка. Андрей Станиславович Бень, 1941 года рождения, переводчик, член Союза переводчиков, по образованию химик, окончил Варшавский университет, был направлен на

доучивание в МГУ, защитил диссертацию на тему: «Исследование возможностей разрыва связи углерода в четвертичных амониевых солях действием алькалических металлов в среде жидкого алюминия». Отход от химии, переключение на литературную деятельность кандидат химических наук Андрей Станиславович Бень объясняет следующим образом: «Когда я был мальчишкой, я писал какие-то-нибудь стихи. Мне нравился артистический путь. Хотелось писать прозу, но для этого нужен житейский фундамент, надо знать что-то-нибудь конкретное, поэтому я пошел изучать химию».

Русский язык Анджей воспринял от своего отчима, выходца из Западной Украины, тренера люблинской футбольной команды. Однажды я был в гостях у Анджеева отчима-футболиста, крепкого мужика (хотел написать старика, но это бы не совпало со зрительным образом), с определенным взглядом на все явления жизни. Само собой разумеется, мы по-русски хорошо выпили, помню, хозяин дома с пафосом произнес монолог в осуждение почему-то неприятной ему игры в «ручной мяч». «Это еврейская игра, — с презрением отозвался о «ручном мяче» (никак не касаясь «еврейского вопроса») тренер люблинской футбольной команды. — Вот футбол — мужское дело!»

Когда Анджей Бень жил в Москве, в середине семидесятых годов, как-то купил (поляки говорят покупил) в книжном магазине только что вышедшую в издательстве «Современник» мою книгу рассказов «Други мои», за 55 копеек. (Это было важно для него, сколько стоит книга.) Тогда я получил первое письмо от моего читателя, живущего в Москве поляка, трогательное изъяснение в испытанных при чтении чувствах, с милыми полонизмами: «где-то-нибудь, покупил...» Анджей писал мне, открытому им самим автору, что начал читать мою книгу в метро, не расставался с ней до утра в общежитии, что ему очень захотелось перевести мои рассказы на польский язык...

За годы переводческой работы Анджей Бень (его приняли в Союз переводчиков в 1982 году) перевел для издательства ПАКС «Третью охоту» Владимира Солоухина (кстати, Солоухин — любимый автор ПАКСа, лауреат одной из ежегодных премий; ранее Паустовский), повесть Константина Воробьева «Крик», «Кануны» Василия Белова, «Волчью стаю», «На войне как на войне», «Урода» Виктора Курочкина. Печатал в периодике переводы стихов Леонида Мартынова, Глеба Горбовского. Сам нашел, выбрал в книжном море,

обосновал перед издательством; ПАКС — издатель весьма разборчивый.

Кроме сборника рассказов «Друзи мои» в ПАКСе вышли еще две мои книги прозы: «Длинная дорога с футбола», «Глоток свежего воздуха» — в переводе Анджея Бенья.

В годы кризиса, военного положения в Польше Анджей Бень вспомнил химию, изготавливал зубной порошок на продажу. В нынешней Польше интерес к сочинениям советских авторов, за малым исключением, свелся почти что к нулю, равно и издательский спрос на труд переводчика с русского.

Кто будет в Варшаве, отыщите в переходе под Маршаковской скромного продавца книг, в кожанке времен Пилсудского, простоволосого, седого, с прокуренными зубами, с устоявшимся на лице выражением готовности к любому повороту судьбы. Пожмите ему руку!

## XI

Мы опять вместе с Джин и Яном. В нашем доме, в Питере, на канале Грибоедова английская речь, такая, как в Дорридже, на Уоррен Драйв, 12. Предстоит поделиться с гостями тем, чем располагаем, — самими собой, какие мы есть...

Тихим благоуханным вечером раннего лета едем по святым местам вблизи Новгорода, от церкви Спаса-Нередицы к церкви Спаса-на-Ковалево. Лиловеет зацветшая картошка, пышно зеленеют луговые травы, со всех сторон нас обступила империя добра-красоты. Новгородские церкви напоминают о главном, вечном — нужде человека в указующем персте красоты. И так их жалко — церквушек, битых-перебитых...

Въехали на пригорок, все пошли вокруг церкви... Вдруг до меня донесся взволнованный крик моей жены: «Сюда! На помощь!» Я мигом явился на зов. Высоко над входом — железной дверью, запертой на замок, — в углублении-нише в кирпичной стене, с округлым верхним сводом, на железной балке-рельсине, очевидно, крепящей

нишу, сидел черный, с белыми грудкой и лапами котенок и отчаянно мяучил. Самому ему с балки было никак не слезть, спрыгнуть высоко, страшно.

Как его туда занесло? в нише имелась дверца внутрь церкви, плотно прикрытая. Кто-нибудь высадил котенка на балку? Но для чего? Или он сам?..

Поочередно с Яном мы попытались взобраться в нишу к котенку, но тщетно; основание ниши гладко, покато, не за что ухватиться. Я выломал сухой ольховый дрын, думал спихнуть котенка с балки, понудить его к единственно спасительному прыжку. Но котенок еще больше ошалел от страха, горько плакал...

Я рассудил, что лучше бы нам уехать: котенок поуспокоится, сообразит, что к чему, да и соскочит. Или за ним придут, котенок-то домашний. До ближайшего дома было не далеко, но порядочно, чтобы котенок сам прибежал в святой храм...

Мнения разделились: женская половина моей семьи и слышать не хотела, чтобы бросить котенка в беде; англичане сохраняли нейтралитет. Положение становилось щекотливым. Англичане тихо посоветовались, не сказавшись нам, молча пошли вниз с горы, в направлении ближайшего дома. Я смотрел им вслед, как они идут по пустынной дороге, от храма Спаса-на-Ковалева — куда?.. О чем-то поговорили с поливавшим огород домовладельцем, не знаю, на каком языке. Прихватили две доски из штабеля, принесли... Приставили одну из досок покато к двери, Ян взошел по ней к нише (я его подпирал снизу), неся другую доску в руках. Он воздынул ее в нишу таким образом, чтобы котенок... Кошачий ребенок тотчас смекнул, осторожно сполз по доске, спрыгнул в траву. Все пережили радость вполне конкретной победы добра над злом.

Как видим, и тут, в самом сердце России, англичане оказали себя молодцами, по-божески отнеслись к Божьей твари, попавшей в беду. К слову, котенок как таковой, похоже, не занимал наших англичан, они к нему и не прикоснулись; им важен был принцип: довести начатое до благоприятного результата, не бросить на полпути, не обмануть хоть чью-нибудь надежду.

Хелло, Джин! Хелло, Ян! Мы вас вспоминаем добром. Икается ли вам в вашем Дорридже? Или англичане вообще никогда не икают?

Едем по Новгородчине, окунаемся в чистые тона раннего лета, перелетываем по мосткам через задумчивые речки, окатываемся голубизною озера Ильмень... Свернули с большака в Россию избяную, колодезную, с бабушками на завалинках, котами на крылечках, ракетами у обочины. Моя машина так хорошо знает дорогу сюда — в село Старый Шимск на берегу Шелони, — что и править не надо, сама выбирает ту избу, где нас ждут. Встретить вышел хозяин, румяный, голубоглазый, побритый, лучащийся радушием, в новом костюме и полуботинках, в свежей сорочке — Иван Александрович Ленкин, местный крестьянин, мастер корзины плести и вирши слагать, мой сердечный приятель, поэт. Когда я был редактором журнала (когда я на почте служил ямщиком), то иногда печатал вирши старошимского поэта-крестьянина, ясно-простые, как утро над Шелонью, звонко-переливчатые, чистые по звуку, как родник, узорно-изукрашенные, как деревянное кружево наличника, многоцветно-духмяные, как заречный пойменный луг, по-детски непосредственные, по-отечески добросердечные... Местами малость занудные, не без того. Если жаворонка день-деньской слушать, и тот прискучит, и соловей: все про одно и то же, а нам подавай и того и этого...

Повисло небо синим плесом,  
Над плащаницей тихих вод.  
Дергач травы зеленой косы  
То расплетает, то плетет.

Ах до чего здесь воздух свежий,  
Еще свежей в лесном бору.  
Восток безоблачный разнежен,  
Зарю качает на ветру.

.....  
И распыляется свет алый,  
Как золотистая пыльца.  
Берет здесь жизнь свое начало  
С порога сельского крыльца.

Берет с полей, озер и речек,

Где мы ростками проросли,  
Где стрекотал не раз кузнечик  
И журавли тепло несли.

Несли туда, где луга ситец  
На свадьбы лето раздает.  
Любите, радуйтесь, живите  
Пока земля моя поет.

У Ивана Александровича все приготовлено, складываем в багажник ведро под уху, котел под чай, ложки-тарелки, хлеб, лук, перец, картошку, лаврушку. И дровец для костра. Едем на берег; река, уширяясь, успокаиваясь, неподалеку вливается в Ильмень... Как по щучьему велению, к берегу причаливает лодка, а в лодке рыба — шелонская, ильменская: меднобокие, красноперые окуни-лемеха, судаки востроносые, шибко вкусные... У Ивана Ленкина все предусмотрено: рыба поймана, таган излажен, лучина на растопку нащепана. Костер возгорается, над костром ведро с ухой (вышкерить рыбу — моя работа). Ну, что же? Вот вам и Россия, гостюшки дорогие! Хотите, лежите на траве-мураве, солнышком согретой; хотите, войдите в реку Шелонь, она вас шелками окутает, понесет в сине-море Ильмень... Вон, видите, косари, — мужики в белых рубахах, бабы в белых косынках — так было всегда на Руси, даже в самом ее начале. Надышитесь мятой и зверобоем! Насытитесь Россией, возьмите ее с собой в Англию, сколько можете увезти, нам не жалко!

Между тем уха готова, можно в этом удостовериться: прихватить рыбину за плавник, если он остался у тебя в руке, снимай ведро с тагана... Но минутку терпенья: Джин пришла какая-то идея... Джин спрашивает разрешения опустить в ведро одну дезинфицирующую таблетку: ей в Англии говорили, что вода в России... Н у что же, быть по сему: кидаю в котел убийственное для микробов английское снадобье, вчуже сострадаю микрофауне, не ожидавшей такого подвоха...

Располагаемся на траве хлебать уху, лакомиться белым рыбьим мясом (кости, хвосты, плавники — чайкам). Уха заведомо

великолепна: сварена в той воде, откуда родом рыба; не уха — объедение! Джин сказала, что в Англии нет такой рыбы, что она в первый раз в жизни отведала уху — невысказанно вкусно! Кушайте на здоровье! Еще добавить?!

После ухи пьем чай, тоже вкусный, из шелонской воды... Ваня Ленский давно ждет момента... прочесть стихи. Начинает и кончает на одной ноте, как птица песню. И все понятно, не надо переводить. «Пусть он напишет то, что прочел, — сказала Джин, — мы возьмем с собой, дадим перевести на английский Элисон Грант, или, еще лучше, Нэсте Прилуцкой... и я напечатаю книжку в своей типографии: стихи по-русски и по-английски. Только надо приобрести русский шрифт... Эвелина нарисует обложку. И мы пришлем Ивану...» Вот как все быстро можно решить, без ВААП...

Иван ложится брюхом на траву, пишет в данном ему английском блокноте утром родившиеся стихи... Ах если б он знал тогда, что из этого выйдет... Если бы нам сказали, что случится с нами через какие-то несколько лет...

Который день едем, едем. Вот это — река Волхов, это Старая Ладога, древнейшее поселение русских... Англичане мурлычат: вери найс! экселэнт! Наше маленькое общество советско-английской дружбы основано на одной взаимной приятности; так много синяков набили мы при заведенной у нас твердости, так хочется мягкости!

Рейс Ленинград-Лондон состоится в назначенное время. Вместе с Джин и Яном мы движемся к той черте, за которую без визы не пускают. Дошли до черты и кинулись в объятия друг другу. Даже стоящий за стойкой малый с постной рожей улыбнулся: за что эти русские так любят этих англичан? за что эти англичане так любят этих русских?

## Визит второй

### I

Нет нужды напоминать главные события, постигшие наше отечество в период между моими двумя визитами в Среднюю Англию, между 1989 и 1995 годами. Только скажу, что процесс всеобщей суверенизации прошелся и по нашему семейству: теперь у нас в доме три суверена — я, моя жена Эвелина и дочка Катя. Меня лишили роли главы семьи (поскольку я лишился заработка как писатель), отпала обязанность отеческого попечения о домочадцах. Так же и Россия перестала быть «старшим братом» не только Украине, но и Якутии. Польша оцетинилась против России, каналы связи пресечены; мой друг сердечный Анджей Бень не подает голоса, жив ли, — не знаю. На окраинах нашего государства воюют. Смирнейший — мухи не обидит — Иван Ленкин насмерть враждует с поселившимся в деревне Старый Шимск агрессивным пришельцем из Осетии.

Возлюбленный в западном мире как провозвестник демократии в «империи зла», нами же взлелеянный себе на голову Горбачев ныне у себя на родине уподобился гороховому шуту, хотя по-прежнему со зловещей отметиной на лысом черепе: меченый Сатаной...

Наш народ, то есть мы, русские... Намедни ехал на электричке из Питера в Комарово, по новому урезанному расписанию: едущие набились в вагоны как сельди в бочку — дети, собаки, старухи, тележки с поклажей, девки в обнимку с парнями... И хоть бы кто-нибудь возмутился, подал бы всхлип протеста... Только грудные младенцы орали благим матом... Народ у нас зело терпеливый. Это в свое время заметил еще Иосиф Виссарионович Сталин.

За последние годы нас, русских стало на два миллиона меньше. Предложенное Горбачевым «ускорение» обернулось ускоренным вымиранием.

Умерла в Лондоне, в возрасте восьмидесяти лет, Мария Лаврентьевна Пущина-Вильямс. Царствие ей небесное!

Что касается позитива... Ян и Джин Шерман Бог знает какими трудами, усилиями, затратами издали в Англии книжку стихов Ивана Ленкина «Сельские рассветы (Кантри даунс)»; вирши старошимского пиита переложил на английский Ричард Маккэйн, переводивший Ахматову, Пастернака, Мандельштама. Мало того, в Доме Пушкина (Пушкин Хаус) в Лондоне на 25 апреля 1995 года планируется презентация названной книги, заодно и представление... Я снесся с Иваном Ленкиным: «Ваня, поехали в Лондон, нас приглашают...» Он ответил: «Да понимаешь, у меня пенсии не хватит до Новгорода билета купить».

Моя пенсия не намного больше, но отказываться от приглашения друзей... Это как-то не по-товарищески. Я стал выкручиваться, разумеется, с помощью пригласителей. Что и как, вдаваться в детали скучно, я выкрутился, благодаря чему записал, главным образом, в Дорридже, в светелке на Уоррен Драйв, 12, мой второй визит на Острова.

## II

21 апреля 1995 года. Дорридж. Ян принес (то есть привез) лосося килограммов на восемь, свежего, несоленого. Весь вечер Джин читала поварскую книгу (как видим, заботы англичан разнятся от наших), соображая, как лучше съесть большую рыбу (биг фиш). Лосось пойман в каком-то озере, в Шотландии. Джин спросила у меня: «Может быть, вы знаете, что с нею делать?» Когда у нас в Ладоге водились лососи, меня брали с собой рыбаки «похожать» невода, за труды мне давалась средней величины лососка, я разрезал ее повдоль спины, вынимал хребет и внутренности, вытирал рыбий трюм чистой тряпкой, внедрял снаружи и изнутри соль с сахаром: два стакана соли, один сахар — смазывал постным маслом, запеленывал в полотенце, опускал в погреб, сверху доску с гнетом. Рыба засаливалась в собственном соку, получался нежнейший балык.

Большая рыба, купленная Яном Шерманом, была разрезана с живота, выпотрошена. Я бы из нее сварил уху, пожарил бы в масле с луком, но Джин выбрала что-то другое. Посмотрим...Назавтра биг фиш оказалась запеченной в духовке.

А теперь все по порядку, хотя, собственно, для чего порядок? и вообще, к чему все подробности перемещения отдельно взятого лица из одной среды обитания в другую? Данное лицо мало приспособлено к перемещениям, как и прочие лица пенсионного возраста в эпоху реформ. Мы все более впадаем в неподвижность, дабы упокоиться наконец — закон естества. И все же по порядку: накануне отлета в Лондон ночью у меня заболел зуб, очевидно, от общих треволнений. То есть корень выпавшего, отслужившего свой срок зуба... Вместо того, чтобы должным образом подготовиться к отлету, в шесть утра я побежал искать круглосуточно работающего зубного зубодера. Такого не нашлось. Зубы (корни зубов) выдирают с девяти утра. Мой самолет в Лондон в час пятнадцать. Без четверти девять в зубоврачебный кабинет пришла русская красавица во вкусе Кустодиева, в белом халате, и вылушила мой корень зуба за милую душу. Собираться в дорогу уже было некогда. Перекосившийся от боли, похватал кое-какие вещички, засунул в сумку, поцеловал дочку Катю...

В аэропорту «Пулково», пройдя контроль, я тотчас нашел стойку с уютной дамой, торгующей за рубли, взял пятьдесят граммов бренди и повторил. Это утишило боль в моей челюсти. Я вошел в салон самолета Аэрофлота, мне было известно, что мое место в курящем отсеке, здесь, кроме меня, курящего, обосновалась пышноволосяя, курносая английская девушка, наша синеглазая женщина и достопочтенного вида англичанин. Синеглазка тотчас заговорила с англичанином по-английски, повидимому не в силах долее скрывать свое англоязычие. Она спросила у сэра, чем он занимается в России — бестактный вопрос, совершенно не в правилах английского этикета. Сэр сказал, что занимается бизнесом. Второй вопрос синеглазки ни в какие ворота: “Сколько вы зарабатываете? (Ну что возьмешь с русской бабы?) Сэр ответил невнятно, в том смысле, что рано судить.

Вскоре мы сидели рядом с русской англоманкой, покуривали. За огнем приходилось обращаться к тоже курящей (видимо, испорченной в России: в Англии мало кто курит) миловидной юной англичанке:

зажигалку я забыл, будучи поглощен вырыванием зуба, последующей болью. После выяснится, что я забыл и более важные вещи: очки, письменное приглашение меня мистером и миссис Шерман в город Дорридж... Забылся и адрес моих попечителей в Дорридже... Боюсь, что дома осталось и нечто гораздо более существенное в поездке (и дома) — сердце, способное нормально гнать кровь. Взятое с собою в дорогу сердце дает перебои, я хватаюсь за грудь, кладу под язык облатку... Это в самом начале... Знающие люди говорили, что вдалеке от дома, в непривычной обстановке организм отвлечется от домашних недугов, мобилизует силы... На эти силы я и понадеялся, пускаясь в путь; других у меня нет.

Сидящая рядом со мной россиянка-англоманка выбалтывала мне решительно все содержимое ее внутреннего мира. Она сказала, что ее зовут Татьяной, летит из Омска в Лондон к жениху-англичанину, что ей 45 лет, а ему 54, он ей звонит из Лондона в Омск и всякий раз заканчивает разговор с подругой сердца одной фразой: «Я бы еще с тобой поговорил, но это дорого стоит, и я заканчиваю». Омская невеста лондонского жениха возмущалась такой меркантильностью: «Ну зачем же он мне-то говорит? если ему дорого, мог бы и не звонить, правда?» Татьяна сказала, что у нее в Омске муж, но они с мужем в разводе. Татьянин муж не женится, живет один, он главный пожарный в Омске, у него прекрасная квартира, и он выстроил дачу. Бывший муж каждый вечер звонит Татьяне, заверяет ее: «Мне больше не с кем поговорить, ты одна меня понимаешь. У Татьяны двое детей, сын женатый, устроенный, дочке пятнадцать лет. «Я мужу говорю, пусть дочка у тебя поживет, пока меня нет, а он говорит: «Нет».

В Петербурге у Татьяны есть сердечный друг Иван Иванович. «Я ему позвонила, говорю, так и так...» Он говорит: «Прилетай. Дорогу я оплачу». И все оплатил. У нас с ним платоническая любовь».

С англичанином Татьяна повстречалась в Омске, он там работал, что-то монтировал. И он полюбил Татьяну. Теперь он расторг свой брак в Англии, женится на Татьяне. «Мы будем свадьбу играть в Рубцовске у моей сестры. У нее свой дом, место красивое, я вообще Алтай обожаю».

Что есть у Татьяны, так это синева в глазах, как в небе над Алтаем. А больше в ней ничего такого как-будто и нет. Она работает в Омске в турецкой фирме. Турки ей платят... «Вы представляете, всего

двести тысяч в месяц, обещали прибавить, я уже три месяца у них, оформляю всю документацию, не прибавляют. Вообще, они смотрят на нас, русских, как на рабов». Ну вот и приехали. Мог бы подумать граф Игнатъев, посол России в Константинополе, подписывая в 1878 году договоры Сан-Стефано, утверждавший полное превосходство России над Турцией, что через сто с лишним лет турки возобладают над русскими даже в Сибири?!

Еще в Лондон летят школьники из Совгавани, дети совгаванских богатеев, уже пятые сутки Летят, с красивыми учительками, а одна ученица просто прелесть — эвенкийских, нивхских, удэгейских кровей метиска...

В аэропорту Станстед, в тридцати милях от Лондона, на паспортном контроле я попал к англичанину с большими усами, похожему на Оноре де Бальзака. Он коротко глянул на меня, почитал мои бумаги, спросил, знаю ли я по-английски. Я сказал, что немного знаю. Он задал несколько вопросов, на которые я не смог вразумительно ответить. Позвал переводчицу, та перевела мне его вопросы: «Чем вы будете заниматься в Англии?» Я сказал, что буду читать лекции по литературе. Для чего-то, то есть по старому моему опыту добавил: «Без политики». Проверяющий меня англичанин хмыкнул: «Можете и о политике». — «Спасибо». — «В каком графстве находится город Дорридж?» Ну, этого я не знаю. «Кто вас встречает?» — спросил контролер, похожий на Бальзака. — «Меня встречают мистер и миссис Шерман. Они вон там». — Я показал: до них рукой подать. Контролер сказал: «Посидите, я схожу к ним, поговорю».

Через контроль проходили сибирские мужики — главы районных администраций Новосибирской области. То есть, один из них был, точно, районным главой. Мой Бальзак спросил у него: Какая ваша должность? Сибиряк отвечал с такой же интонацией, как если бы о должности спросили у королевы Англии, и она бы призналась: «Я королева». Маленького роста невидный мужичок, в прежние времена не потянувший бы на секретаря райкома, разве что на парторга колхоза, сказал, как отрубил: «Я — глава администрации ...района, Новосибирской области» (район я не уловил). Бальзак продемонстрировал знание географии, очевидно, для меня, не знающего, в каком графстве город Дорридж, промурлыкал: «Новосибирск, Омск, Томск...»

Сибирские мужики, по виду не тронутые модой запада, одетые как при Брежневе, Андропове, Черненко, раннем Горбачеве, все прошли без задержки. Я сидел на диване. Бальзак долго о чем-то разговаривал с прилетевшим из Санкт-Петербурга в Станстед человеком кавказской национальности, в мятой рубашке, выпущенной из штанов, и в тапочках. Английская дама привезла на тележке с багажного круга мою сумку, набитую разными книгами, засунутыми туда впопыхах. Я остался единственным непропущенным.

Бальзак ходил в то место, где меня ждали, не дождались... Вернулся, спросил, в который я раз в Англии, сколько пробыл в последний раз. Я сказал, что в четвертый, жил месяц. Он опять взглянул на меня все понимающими глазами. Он понял меня как русского обалдуя: ездит в Англию, месяц живет — и ни в зуб ногой, даже не знает, в каком графстве Дорридж. Тут я вдруг вспомнил адрес моих приглашателей, радостно воскликнул: «Дорридж, Мидлэнд, Уоррен Драйв, твелв, то есть: Дорридж, Средняя Англия, Уоррен Драйв, двенадцать. Бальзак не то чтобы улыбнулся, но как-то отмяк, сказал: «Иди. Желаю удачи».

Меня встретила Джин Шерман, мы выпили по большой кружке кофе с молоком, Джин сказала, что проверяющий отозвался обо мне: «Подозрительный человек» (сэспижен ман). Джин отыскала в стаде машин свою красную, нового поколения — «Ровер». Мы сели, поехали.

### III

Англию обуяла весна, уже готовая перейти в лето; повсюду зеленели трава и всходы, с кое-где разбросанными клочками желтого рапса, с желтыми одуванчиками у обочины дороги. Мы ехали два часа с четвертью, на всем зеленом пространстве Средней Англии я не увидел человеческого существа или какой-либо животины. Спросил у везущей меня Джин, где коровы, лошади, овцы. Она говорила долго, обстоятельно, я понял, что мясо в Англию завозит Германия, Франция, Испания, по-видимому и молочные продукты и шерсть. Заниматься

скотоводством английскому фермеру невыгодно. Впрочем, мы ехали по самой середине Англии (мидлэнд), возможно стада пасутся где-нибудь в Йоркшире или Уэльсе.

В Дорридже... Ну да, у меня нет слов сказать, что в Дорридже бывает весной (ин спринг), английских слов, точно нет, а русские не подходят к тому, что видишь, обоняешь, осязаешь в Дорридже по весне. Посреди садочка, то есть лужайки Шерманов цветет белым цветом дерево. Я спросил у Джин: «Это яблоня (эппл три)?» Джин сказала: «Это — дерево Чехова (три ов Чехов)». То есть дерево из «Вишневого сада», вишня (черри). Деревья в лиловом цвету — черешни — тоже зовут черри. Незабудки и здесь незабудки (дон'т фогет ми). Ландыши — лилии долин. Колокольчики — голубые колокола (блю беллз). Ну, хорошо. На лужайку прилетают голуби-пиджеоны, то есть пижоны. И так нагло, явно, демонстративно превосходят наших голубей — величиной, добротностью, изыском оперения, солидностью форм, как машины нового поколения в Англии — наши «жигулята». Что ни говорите, как ни любите свое родное, но английские голуби раскормлены до невозможного у нас великолепия. Ну, ладно. Джин бросила на лужайку несколько булочек. Первым прилетел черный ворон, в полном смысле английский ворон, тоже великолепный, с лоском в пере, стал терзать булочку, как-будто это добытая им дичь. По всей лужайке разбежались пестрогрудые скворцы, и постоянно бывают в гостях черные дрозды, их здесь зовут просто: блэк бердз — черные птицы. А собственно дрозда обзывают таким словом, что лучше его не выговаривать по-русски, получается неблагозвучно. Утром и к вечеру дрозды дают концерты.

У нас есть выражение: «дать дрозда» — примерно то же, что «оторвать коленце». Очевидно, имеется в виду сольный концерт певчего дрозда: прилетит, сядет на конек крыши — и выдает ни на что не похожие рулады...

Концерты, вот уже четвертый год, дает в Дорридже и других местах Англии филармонический хор духовного русского пения «Россика», под управлением Валентины Копыловой, жены моего друга Александра Панченко, академика-гуманитария. Джин сказала, что жизнь в Англии, особенно в городах, и в частности, в Бирмингеме, лишена духовного смысла, гармонии, возвышенных эмоций. Когда приезжает в Дорридж «Россика», когда хор поет — в храмах и

концертных залах, — тут-то и пробуждаются высокие чувства в очерстевших душах англо-саксов. Поют по-русски, но, как сказал один дорриджанин, слова не важно какие, прекрасно само пение, музыка чувства.

Понятие о хоре «Россика» Джин и Ян Шерман уловили от Валентины во время первого визита в Санкт-Петербург (тогда он был Ленинградом), у нас в гостях: Валентина им кое-что напела русское, из репертуара хора... В голове у Джин возник план (у Джин не голова, а дом советов): пригласить хор в Дорридж, расселить его по избашкам дорриджан, повозить хор по

Англии, как голос России, может быть, и подзаработать на хоре. Так и вышло: в один прекрасный день в Дорридж, к дому на Уоррен Драйв, 12, приехал автобус с ленинградским номерным знаком, из него высыпала гурьба звонкоголосых, как дрозды, хористов и хористок... Год спустя, в другой прекрасный день самолет лондонского рейса доставил в Санкт-Петербург чуть не все народонаселение Дорриджа: Шерманов, Эвершедов, Риту Флетчер... (Помните, с чего началось? Лет восемь тому назад я вышел вечером прогуляться в Михайловском саду, навстречу идут англичане, с моей знакомой переводчицей «Интуриста» Татьяной. Я говорю: «Татьяна, может быть, кто-нибудь из них захочет зайти в русский дом? Милости просим». Зашли Шерманы. Познакомились, попереписывались года два, наконец они нас пригласили к себе. Потом мы их к себе. И — закрутилось...) Валентина увезла дорриджан куда-то за город, в купленный ею дом, там купались в речке, собирали грибы (мушрумз), всю ночь жгли костер (Валентина сказала: «Выпили ведро водки», — конечно, преувеличила). Морин Эвершед впервые в жизни увидела парящего над лугом коршуна, после восклицала: «Игл! игл!» (то есть: орел! орел!)

Цветущую черемуху я заметил в Дорридже всего одну. И кое-где, в шелку, с сережками, нежные молоденькие березки. И тюльпаны, ирисы, нарциссы...

Ян приехал с работы в половине восьмого вечера, в темном костюме с цветным галстуком. Он поднялся к себе на второй этаж, переоделся в клетчатый пиджак, сменил рубашку, галстук, ботинки. Яну Шерману 64 года, как и мне. Со времени моего первого визита в Дорридж он не постарел, а отвердел, утвердился в роли представителя среднего класса Англии, собственно, верхнего слоя среднего класса, элиты. Его дела, в должности юрисконсульта производственной фирмы в Бирмингеме, судя до всему, идут превосходно. Над столом у него на полке стоит толстенная книга: «Закон и практика митингов», восьмое издание. Ян Шерман — автор этого кодекса проведения митингов в Англии. Вот бы его к нам, в нашу самую митингующую страну. Хотя митинг в России едва ли возможен по кодексу и закону...

В короткие минуты досуга Ян переводит на английский мои стихи. В субботу мы с ним полдня вместе переводили мой стих, написанный перед поездкой в Англию, специально для англичан: «Люблю собак». Англичане — первые в мире собачники. Вот он:

Люблю собак за их лохматость,  
за нраву за искренность хвостов,  
за непохожесть на приматов,  
за и, собачью, к нам любовь.

Собаки — наш их рук творенья,  
у них в глазах при свете дня  
мерцает кротость примиренья:  
«Смотри, я твой, не брось меня».

Собаки в том не виноваты,  
что не умеют говорить;  
они, как малые ребята,  
мы их не вправе укорить.

Они, как мы: по наущенью  
питают ласку или рык.  
Не уповая на прощенье,  
в живую плоть вонзают клык.

Когда собаки умирают,  
от глаз сторонних вдалеке,  
лишь птицы музыку играют  
и дети плачут в уголке...

Вечером в доме Шерманов прием (парти). Все же обнаруживаются признаки обрусения английской семьи. Очевидно, сказалось долгое пребывание хористов и хористок в Дорридже, гостевание дорриджан в Питере: составили общий стол, наварили большую кастрюлю картошки в мундире, подавали запеченного лосося, ветчину, всевозможные салаты, вина испанские, новозеландские и русскую водочку, привезенную мной. В прежние времена, помню, стола не накрывали, все топтались по уголкам, щебетали о чем-то своем, а тут вдруг общие тосты, а после и чтение стихов — мною по-русски, Яном — в его переводе — по-английски. Да, кстати, за время нашего знакомства Ян изрядно выучил русский язык.

Наш вечер украсила чудная русская девушка Юля (англичане зовут ее Джулией). Она заканчивает в Москве юридический факультет, приехала в Бирмингем на практику, в патентное бюро... Юля свободно, по-голубиному воркует по-английски. За три месяца работы в бюро проявила недюжинные способности в юридическом крючкотворстве и уже приглашена, по окончании учебы в Москве, на постоянную работу в Бирмингем. Вот как бывает, ежели Бог наградил тебя умом, рассудительностью, ежели не профукать все это зазря. Глава патентного бюро (элита среднего класса) имеет дом в Дорридже, пригласил Джулию к себе на жительство, ну, разумеется, с согласия жены... У Юли есть коса, как у героинь русской классической литературы (у Чехова уже стриженные барышни). Юля села к пианино, спела два русских романса.

Сейчас полдень, денек пасмурный; поразительно знакомо, красиво, печально что-то выговаривают, высвистывают дорридджские дрозды, то же самое, что в Комарово. На соседнем с Шерманами участке крепкий упитанный мужик (все та же элита среднего класса)

окапывает кустарники. Состоятельные англичане малоподвижны, ездят на машинах даже в гости к своим соседям, в машинах нового поколения удобства доведены до абсурда: в такую машину садишься как в гнездышко, задним местом вперед, каждый член твоего тела пребывает в позе отдохновения, не подумай искать ручку поднять-опустить стекло, нажми кнопку — и все о'кей. Как говорит в таких случаях Дэвид Грэгг, муж сестры Джин

Мэри, профессор-химик на предприятии «Юнеливер» в Ливерпуле, живущий в городке Бебингтоне, — крэйзи! то есть безумие. Но у каждой семьи есть свой садик, лужайка, клумбы, грядки — есть к чему приложить руки, дать порадоваться телу. Ян вчера вскопал грядку, посадил штук пятнадцать картофелин; скошенная трава у него сложена в бурт, на компост. И еще повсюду зеленые стадионы — клубы тенниса, гольфа, крикета. Джин надела белые брюки, пошла на теннисный корт помахать ракеткой, после жаловалась: «Плохо, совсем плохо, колени болят». Представьте себе нашу старушенцию на седьмом десятке, размахивающую ракеткой. В Англии все разумно, достаточно, немыслимо прекрасно и все так... скучно... Для русского человека. «Лучше уж от водки умереть, чем от скуки...» Это мог сказать только русский человек.

Это в нас вошло, мы помним нашим задним умом. Русская скука убийственнее английского сплина. Я не выхваляюсь как патриот, тем более, не сваливаю на Англию свою собственную скуку; дома мне еще скучнее. Но до чего же в Англии тесно после России. Некогда англичане захватили полсвета, но не растворились, вернулись к себе на острова, прихватив чужие сокровища, обустроили, как говорит Солженицын, свою маленькую Великобританию.

Когда я ехал с Джин из Станстеда в Дорридж, физически испытал невозможность переступить за белую ограничительную черту трассы, на зеленый луг, в кустарник, стать ногой на живую землю: земля чужая, приватная, запретная. Скажите на милость, для чего нам уподобляться Англии? Почему разеваем рот на что-то чужое, не уподобляемся самим себе? Моя русская душа плакала и стонала от английской благоустроенности, поделенности на твое и мое. Помните, как мой друг Женька Бабляк, русский англичанин, сбежал из родительского дома в Лондоне, на Шепердз Буш Грин, на родину в Советский Союз и наслаждался возможностью идти по общей,

неприватизированной земле, по лесам и лугам? Увы, без времени помер: средняя продолжительность жизни в России много ниже, чем на Островах. В Англии жизнь настолько отлажена, что, кажется, некогда помирать, а стареть и вовсе нет смысла. Ну давайте поучимся английскому благоразумию, себялюбия! Но сохраним нашу русскую общинность владения и пользования тем, что дано нам Господом Богом! Нам так много дано, и такие мы бедные. Бедность от нищеты духа, от преизбытка доверчивости, неверия в себя. Не прельстимся же на чужое, от чего нам не перепадет ни полушки. На западе так несносно тесно, запад так завидует нам, так зарится на Россию, где сколько угодно земли, воды, неба, красивых девушек...

## V

После фермы Хэмметов поехали в город Солихалл, в колледж: Джин договорилась в колледже показать меня, русского писателя (рашен райтер), старшеклассникам, изучающим русский язык. Нас привели в аудиторию с окнами во всю стену, с видом на цветущую весну в Средней Англии (мидлэнд). В ряд сидели восемь учениц переходного возраста, из девчоночьего в девический. Урок вела учительница русского языка, без каких-либо признаков — в одежде и поведении — «среднего класса». Урок русского языка был построен на материале убийства Влада Листьева. Один из вопросов такой: имел ли право президент России Ельцин снять с работы московских прокурора и главного милиционера. Ответ: нет, не имел, он поступил как секретарь обкома КПСС. Мне не хотелось говорить на эту тему. Я так и сказал. У каждой из девиц, изучающих русский язык в колледже в Солихалле, был заготовлен ко мне вопрос. Одна спросила: «Что вы думаете о будущем России?» Я сказал, что у меня нет плана, как обустроить Россию, что я люблю Россию, верю в нее, мучаюсь и, конечно, надеюсь. Иначе жизнь для меня, русского, не имеет смысла.

Вечером Джин ушла на урок итальянского языка. Ян сказал, что Джин уже двадцать пять лет каждую неделю ходит к кому-нибудь из итальянского кружка в Дорридже, по два часа поговорить по-

итальянски. И так... Утром Джин играла в теннис, возила меня на ферму, в колледж, сварила обед, два часа разговаривала по-итальянски... Джин сказала: «Ай эм тайэд. Я устала». Вообще это любимая тема у англичан, они то и дело спрашивают друг у друга: «Вы устали? вы немножко устали? вы очень устали?» Отвечают: «Я устал. Я немножко устал. Я очень устал».

И правда, как же тут не устанешь?!

## VI

Вчера мы сели в «Ровер» Яна — очень хорошая машина, стоит 19 000 фунтов стерлингов (у Джин «Ровер» поменьше, стоит 5000), Ян вырулил на большую дорогу М -6, через два часа въехали в Лондон. Ян иногда сверял дорогу по карте. Переехали Лондонский мост, прокатились по Сити (сначала Сити, потом мост), поворачивали туда-сюда... Все шло как по маслу, вскоре мы оказались сидящими в конуре Ричарда Маккэйна, молодого, розоволицего, с толстыми губами, в очках, с одной ногой короче другой, в скрипучем ботинке на укороченной ноге, курящего трубочку. Теснота, захламленность квартиры (в университетском общежитии) переводчика с русского (и с турецкого) на английский — воистину петербургские. И дома в этом районе Лондона такие, как у нас в Купчине, и старухи в окнах, и лестницы, дворы, дворовые кошки, голуби...

По пути в клуб Пушкина (Пушкин Хаус) на Лэдброк Гроув, неподалеку от Гайдпарка, мы съели в забегаловке по цыпленку. Клуб Пушкина на первом этаже старинного дома, у входа металлический барельеф Александра Сергеевича; клуб Пушкина существует сорок лет. Внутри в гостиной уютно: икона в красном углу, на стенах портреты знакомых лиц, на полках те книги, что у меня в кабинете. Секретарь клуба Люси Дэниелс, хорошо говорящая по-русски ирландка (Ричард Маккэйн — председатель, должность выборная, неоплачиваемая) нарезала лимон, наливала чай, подавала печенье. На чайном столе лежала записка: стакан чая 40 пенсов, с печеньем 50.

В гостиную Дома Пушкина к назначенному часу собралось человек сорок людей не первой молодости (англичане? русские?). Попервости я заговорил в общем плане: «Наша литература в данный момент переживает...» Видел перед собою замкнутые лица, один мужичок в заднем ряду ронял голову, убаюкивался. Я сменил пластинку, прочитал стихи Ивана Аенькина, свои, Ричард Маккэйн, Ян Шерман прочли переводы. Наступила отдушина. Выступление перешло в беседу. Сидящий в первом ряду англичанин попросил рассказать о Шукшине. Переводила высокая, костлявая, в очень короткой юбке, в колготках жирафьего окраса, с длинным носом, глубоким вырезом на груди дева, отнеслась ко мне по-дружески, по-свойски, представилась: «Лариса». Русская женщина со знакомым лицом сказала, что читала мои мемуары в «Нашем современнике», похвалила за смелость: «Такие вещи публикуют после смерти автора...» Другая русская женщина призналась: «Я вас читала еще в детстве. Вы же живой классик». Я согласился: «Да, классик. Живой». Подошла крепенькая, как боровичок, старушка, шептала: «Они ничего про Россию не знают и знать не хотят. У них молодежь литературу не читает. Против них немцы в войну две дивизии выставили, а против нас двести двадцать, а они надуваются: мы победили. Я сколько сюда хожу, в первый раз живое слово услышала. Вы еще приезжайте, мы вам дорогу оплатим. Это же недорого, от Ленинграда всего двести фунтов».

Я еще не уехал. Вот он я.

Молодой мужчина в кучерявой бородке, с характерным, тоже знакомым выражением на лице, представился: «Я — диссидент». Я заверил его: «Я вижу» — «Я сам из Иркутска. С 74-го года меня преследовали. Четыре года в психушке, в Костроме. Меня зовут Сергей Иванович...»

— Желаю вам всего хорошего, Сергей Иванович.

По окончании вечера встречи в Доме Пушкина на Лэдброк Гроув мне долго хлопали. Ну вот, ради этого я приехал в Англию... Может быть, мне помог Николай Угодник, вон там, в красном углу гостиной?

После вечера Джин Шерман торговала книжкой стихов Ивана Ленькина «Сельские рассветы» и моей «Видения». Кое-что наторговала, ужю передам Ивану. Когда это будет? Боже мой, как еще долго и далеко до дома.

Обратно ехали будто на автопилоте, только промелькивали огни за окном.

Сегодня ветрено, ясно.

## VII

Бэбингтон. Дом Грэггов. Уикэнд.

В гостях были детский писатель Клейтон, похожий на Голявкина, с супругой. Были приглашены две русскоязычные дамы, где-то здесь обитающие, но занемогли или уклонились, не знаю. Я прочел собравшимся мое стихотворение в прозе «Похвальное слово молоку», по-английски, в переводе Люси Дэниэлс, секретаря Пушкинского Дома.

На дворе у Дэвида с Мэри одуванчики, ирисы, вереск, гвоздики, крохотные елочки.

Ян сменил третий галстук, хотя уикэнд еще в середине.

Дэвид Грэгг принес толстенную книгу Кауфмана «Холмы и долины (хиллз энд вэллиез)», сказал: «Это открытие важнее, чем Эйнштейна». Я спросил: «В чем открытие?» Дэвид сказал: «Как делать деньги». И добавил: «Я — капиталист». Дэвид Грэгг — профессор химии в фирме «Юнеливер» в Ливерпуле. Помните, во время первого моего визита в Бэбингтон, он наводил собственный телескоп на Луну, моя жена Эвелина восклицала: «Вот она, вижу». Нынче у Дэвида Грэгга еще более совершенный телескоп.

И еще — помните? — у Мэри и Дэвида Грэггов приемный сын Майкл, мальчик с отклонениями; в первый визит ему было двенадцать, теперь восемнадцать. Майкл вырос в толстого, мордастого детину, в поведении агрессивен, правда, добродушно-агрессивен, пока... К какой-либо трудовой деятельности Майкл не пригоден, по-прежнему остается баловнем-ребенком в семье. Ему куплена небольшая (как наши «Жигули») машина, он имеет права. В семейных поездках папа и мама отдают Майклу руль.

По утрам, как и в первый визит, вижу: Мэри выходит в сад, плачет, курит — я думаю, единственная курящая домохозяйка в

среднем классе Англии. Ах да, еще Рита Флетчер, но у нее свои причины вздергивать нервную систему табачным дымом.

В воскресенье поехали на двух машинах (в машине Дэвида за рулем Майкл) на побережье Ирландского моря, в устье реки Мези, гуляли на лайде, обнажившейся во время отлива. В прибрежных, заросших осокой болотцах лягушачий заказник: огорожено, на кольях предупреждения: осторожно! лягушки! Над нашими головами трепыхались, заливались жаворонки, как на берегу Шелони, у Ивана Ленкина в Старом Шимске.

Дома в Дорридже (в Аапворте, это рядом) вечером прием у Барри и Морин Эвершед. Барри по-прежнему директорствует в школе для детей с отклонениями, таких, как Майкл Грэгг, Морин — помните? — занималась разведением кошек — необыкновенных, с длинными лапами, удлинёнными глазами, похожих на звезд Голливуда — для продажи в разных странах по заявкам. От кошачьего стада остались две красотки, может быть, кошачье дело прогорело, или интересы Морин переключились в другую сферу. Как знать? Две кошки в доме Эвершедов сохранили за собою права беспрепятственно расхаживать по сервированному для званого ужина столу, отвеживать вместе с хозяевами и гостями все блюда. Кошки Эвершедов передвигаются в пространстве, как космонавты в невесомости, будто сомнамбулически. Впрочем, такова же и хозяйка дома, Морин.

На участке Эвершедов возделан их руками огород, мне его показали; Эвершеды вегетарианцы, «зеленые» до мозга костей. Морин — активистка движения против экспорта живых телят, участница манифестаций. Она принесла гигантский фотоальбом под заглавием «Гласность», в котором собрана вся гадость о нашей стране: «ГУЛАГ, Катынь, рожи наших генсеков... Я сказал, что есть другая правда о России, а поскольку двух правд не бывает, то эта книга — ложь. Морин посмотрела на меня, как операционная сестра смотрит на безнадежного больного: положили на стол, взрезали и зашили; сострадание бесполезно.

Англичане капитально зазомбированы — своим агитпропом — на антисоветизме, неуловимо для них переходящим в русофобию. Хотя Морин Эвершед в восторге от поездки в Россию: она увидела там живого орла в небе (игл!), пусть это был просто коршун. И ее

восхитили мириады снующих туда и сюда муравьев; в Англии мурашей извели под корень.

Сегодня, Первого мая, мы ездили с Джин на стадион смотреть матч по крикету. Ехать за четыре дома от Уоррен Драйв, 12. Джин взяла корзину с ленчем: термос с чаем, молоко, сахар, сэндвичи с ветчиной. Мы ленчевали на скамейке у зеленого поля; на поле парни в белых брюках и белых рубашках играли в крикет: один разбежался, с заученным, ритуальным замахом кидал мячик под битку стоящего поодаль в крагах с наколенниками, тот отбивал. Кто-нибудь из стоящих в определенном порядке белобрючников подхватывал отбитый мяч, отдавал забойщику. Что-то в крикете было похожее на лапту. По обе стороны поля стояли два судьи, оба в белых смокингах, черных брюках, огромного роста, по-видимому, в прошлом крикетные забойщики, один из них в соломенной шляпе.

Джин сказала, что эта игра — ритуальная, в ней важны каждое движение, поза игрока. Игроки передвигались по полю медленно, с достоинством, судьи были преисполнены важности.

Немножко забегаю вперед, скажу, что Крис Эллиот, с которым вскоре подружился, так отзовется о крикете: «Совершенно идиотская игра».

## VIII

Моя вторая поездка в Лондон состояла из недоразумений, коротких обольщений и столь же коротких отчаяний. Утром Джин повезла меня на станцию железной дороги Бирмингем Интернэйшнл. Только отъехали от дома, схватилась за бока: что-то забыла. Оставила машину посреди улицы, убежала. Плохая примета! Возвратилась. Поехали.

Лондон? Ну что же, Лондон есть Лондон — невообразимый, неохватный вселенский Вавилон. Мне надо было попасть на Пикадилли, в кассу Аэрофлота, обменять обратный билет с пятого мая на двенадцатое. Именно в эти дни, с пятого по двенадцатое, Ян и Джин

собираются меня куда-то спровадить, очень важное дело — для меня, чтобы я понял, в чем суть их Англии.

Пока что я понял одно: прижиться на их островах такому, как я, старому русскому человеку советской формации, избави Боже! Мне тесно на островах, я привык осязать себя обитателем одной шестой части суши земного шара. Я не могу жить в стране, в которой едущему по дороге (идущего в Англии не бывает) нельзя ступить за белую полосу на краю — там частные владения.

Такая, как в Англии, автомобилизация нас в России не сблизит: на уик-энд из Питера в Сыктывкар все равно не съездишь на авто.

Да, так вот... В Лондоне сориентировался по карте, от вокзала Юстон пошел прямо по Вобурн Плэйс, затем Саутхэмптон роу, Кингсвэй, до дуги Олдвича, свернул направо, на Стренд, вырулил на Трафальгарскую площадь, посидел под сенью адмирала Нельсона, вознесенного в немыслимую высь, попил пепси-колы, покурил, пробился сквозь многотысячное стадо прикормленных голубей, выгреб на Пикадилли...

Девушка за стойкой офиса Аэрофлота отнеслась ко мне с пониманием. У меня было трогательное письмо Джин Шерман Аэрофлоту: Джин заверяла, что я — желанный гость их семьи и вот занемог... Я (то есть их гость Глеб) должен еще побывать там-то и там-то, провожу время с пользой для русско-английской дружбы, выступил в Пушкинском Доме... Джин просила Аэрофлот переменить мне билет с пятого на двенадцатое мая.

Русская девушка отнесла мой билет и письмо английской девушке — менеджеру — та тоже мне покивала. Мне сказали: «Сейчас нет нашего шефа. Придите через два часа».

В состоянии обольщения я пересек площадь Пикадилли, спустился по ступеням в Грин Парк, расположился на скамейке. Покуда сидел, дважды мимо проползла подметающая машина, из нее выскакивал малый, заглядывал в урну, сколько от меня сору, извлек мой единственный окурок.

В Грин Парке там и сям на сбритой по-английски траве, то есть на травяном мате, лежали в обнимку пары, лизались. В шезлонгах сидели леди и джентльмены, за шезлонг надо платить 60 пенсов, на скамейке сиди задарма. Сходил к жаровне с хотдогами, обжигаясь, обмазываясь кетчупом, с отвращением сжевал несъедобную сосиску. Еще посидел.

Явился в Аэрофлот, почти уверенный, что мое дело в шляпе, мой билет добрые девушки поменяют, и мне еще долго смотреть в глаза доброй старой Англии. Молодая проносится мимо... Куда?

Русская девушка сказала с полуулыбкой:

— Вам не повезло. Поменять невозможно, это такой рейс, самая низкая цена.

Я сказал:

— Милая девушка, в Англии есть закон, по которому человек после шестидесяти лет имеет право поменять или сдать свои билет куда бы то ни было. Это — элементарное уважение к возрасту...

— Это в Англии, — сказала девушка, — а не у нас...

Ну вот, плохая примета: Джин вернулась, едва отъехав от порога своего дома; пути не будет...

На Олдвиче против Кингсвея я вошел в Буш Хаус — цитадель радиокорпорации Би-Би-Си: меня пригласил зайти к нему на радио — записать со мной интервью — обретенный в Доме Пушкина новый лондонский знакомый, впрочем знакомый и по Москве. Назовем его... ну, скажем, Русланом... Вход в Буш Хаус массивный, как и сама цитадель, с широкими каменными ступенями, с дверью-вертушкой. На стойке предупреждение: в офисе Би-Би-Си не курят. Специальная противопожарная полиция вас обнаружит, если вы задымите...

Я позвонил Руслану, он прислал за мной девушку, мне выдали квиток на проход. Наверху, в редакции у Руслана молодые люди разговаривали по-русски. Руслан завел меня в маленький отсек с двумя микрофонами, задал вопросы, я ответил. И мы поехали к Руслану домой, в пригород Лондона Кройдон, сначала на метро, потом на поезде, с вокзала Виктория... Руслан с женой Ириной живут в таком доме, как у большинства англичан в маленьких городках — двухэтажном, но занимают второй этаж; на первом другое семейство. Впрочем, я не входил в обстоятельства любезно пригласившей меня с ночлегом (а где еще в Лондоне ночевать? под Лондонским мостом?) русской семьи, живущей в пригороде Лондона, но как-будто не насовсем уехавшей из Москвы. Мы сели к столу, только вошли во вкус на русский манер приготовленного ужина, увлеклись критиканством в адрес английской кухни... и в это время в меня вошла боль. То есть боль вошла раньше, но я все время принимал такую позу, чтобы не чувствовать ее. Боль представляла собой нечто совершенно

невозможное в этот вечер в пригороде Лондона Кройдоне. Боль выпадала из этого вечера, но не выпадала из меня. Боль вошла в мою левую лопатку, в предплечье, как при моем первом инфаркте. Я проглотил взятые из дому лекарства, но боль не заметила их.

Я сказал хозяину дома в Кройдоне: Руслан, так и так... Он не ужаснулся, не отшатнулся от меня, его ровное домашнее настроение осталось таким, как было. Он сказал (то есть они сказали вместе с женой Ириной):

— Сейчас мы вызовем врача. Это в Англии бесплатно, за счет наших страховых взносов, это сохранилось еще от лейбористов, от социализма в Англии, — народная медицина. Если у тебя есть лишние деньги, — пожалуйста, лечись у частных докторов, а так здесь с этим просто...

Руслан позвонил, через двенадцать минут явились два молодые джентльмена, с переносным аппаратом, сняли у меня электрокардиограмму... Один из двоих — доктор (другой сядет за руль скорой помощи) — сказал, что надо меня отвезти в больницу (хоспитэл). Меня вывели под руки, усадили в карету, минут семь ехали, стали. Меня пересадили в кресло с колесами, привезли в бокс реанимации, как в свое время у нас, когда меня привезли с моим первым инфарктом в больницу города Сестрорецка (тоже пригород, но Ленинграда), уложили в постель с поручнями, с приподнятым изголовьем. Сестры: одна светлая, другая темнокожая — раздели меня, вдели мои руки в рукава пеньюара. Одна из них побрила шерсть у меня на груди, чтобы не отваливались резиновые присоски электрокардиографа. Меня подключили к аппаратуре. Я полулежал в прострации. Со мною могло случиться нечто неместимое в мой внутренний мир: вдруг сейчас меня отключат от внешнего мира, увезут, уложат, я останусь совершенно один в антимире. Надо мною в изголовье стоял Руслан и молчал. А что тут скажешь? Так продолжалось около получаса, мною овладела невыносимая тоска, поглотившая все другое; я не чувствовал даже боли, только тоску расставания со всем, даже с возможностью говорить. Английские слова позабылись, речь окружающих стала совершенно невнятной. Пришел доктор, молодой, темнокожий, по-видимому, индус (или пакистанец), спрашивал у Руслана, тот переспрашивал у меня, какова моя боль, в каком месте. Доктор прочел ленту моей кардиограммы,

произнес последнее слово — мне приговор. Приговор выслушивают стоя, но я безучастно полулежал, как постороннее тело. Руслан перевел слова доктора:

— Доктор сказал, что у вас нет инфаркта. Скорее всего, боль простудного характера, вроде прострела.

Я быстро снял пеньюар, высвободился из постели, оделся, сказал доктору: «Тэнк ю вери мач!» Мы с Русланом быстро зашагали по холодку, по городку Кройдону; моя боль улетучилась; чудо жизни — свобода распорядиться собою, ну вот, хотя бы быстро идти — переполняла меня... телячьей радостью, как если бы английского теленка избавили от мук перевозки в клетке на убой в другую страну.

Я подумал, что плохая примета: вернулся в начале пути, — пути не будет — действует в течение календарных суток. Уже перевалило полночь...

Я с чувством сердечно благодарил Руслана, Ирину за их участие во мне. Они говорили:

— Ну что вы, в Англии это просто.

И другие слова.

Мы выпили с Ириной бутылку вина (Руслан не пьет будучи мусульманином).

Перед сном возле меня мурлыкал английский рыжий кот.

## IX

Вечером мы поехали с Барри и Ритой Флэтчер в итальянский ресторан. Вначале посидели у камина в доме Флэтчеров. Барри принес бутылку Смирновской водки, сказал, что эта водка хорошая (гуд), мягкая (смут). Я выпил мягкой «смутной» водки со льдом, Барри и Рита белого мозельвейна. Барри принес пепельницу с секретом: сунешь в нее окурок, из чрева пепельницы раздается кашель, перханье... Смешно. Принес копилку: всунешь в щель однопенсовую монету, внутри заурчит, раскроется крышка, высунется костлявая рука, схватит монетку, крышка захлопнется. Ха-ха-ха! Рита сказал, что Барри как маленький ребенок.

Поехали. Недалеко. Гостиница с ресторанчиком у дороги. Посидели в предбаннике, покурили, чего-то выпили (мне Барри опять поставил водки, полагая, что в этом моя особенность как русского: глушить водяру). Хозяин ресторана, толстый, как бочка — буквально, в талии в два обхвата — о чем-то поговорил с Барри. Официанты тоже отнеслись к Барри по-приятельски. Про меня Барри сказал, что я из России, то есть меня привезли в ресторан как штучку с секретом: вдруг раскроется и схватит. Впрочем, ни ка кого это не произвело впечатления. В Англии вообще никто ничему не удивляется. Барри спросил, что я буду есть, мясо или рыбу. Я сказал: мясо (мит) — рыбу ел в этой компании в прошлый раз. Перешли в ресторанный зал, сели за нас ждущий стол, опять чего-то выпили без закуски... Для начала всем принесли по ломтю ананаса, завернутому в тонкую долю копченой ветчины. Вкусно ли это? не знаю. Если бы мне дали... селедочки с картошечкой, соленой капустки, маринованного гриба-подосиновика, я бы знал, что это мне по нутру. Вскоре официант принес Рите рыбу, Барри, похоже, крабовые ножки, мне целую ляжку теленка...

В то время, как Барри и Морин Эвершед, с легионами своих единомышленников-вегетарианцев, митингуют в защиту телят... Да... Теленка я съел с превеликим аппетитом, поскольку в тот день остался без ленча, удовольствовался несколькими прелестными чашечками чая (э найс кап ов ти). Запил божественным итальянским вином. Еще что-то дали, не помню, объелся, ополоумел, кажется, клубнику в креме. Итальянский ресторан заполнился, за всеми столами сидели солидные англичане с женами, уплетали за обе щеки, размеренно, вполголоса лопотали. В атмосфере сгустилась непробиваемая скука излишнего, как ананас в ветчине, благополучия, благоразумия.

Барри Флетчер, единственный в итальянском ресторане похожий на итальянца, вдруг разнервничался, отшвырнул своих крабов, закурил (за столами не курят; вообще средний класс в Англии некурящий), куда-то убежал. Мы с Ритой вышли следом. Барри вымучивал из автомата сигареты «Силк Кат (Шелковый отрез)», с низким содержанием смолы, самые дорогие. Самый богатый человек из Дорриджа нервничал: автомат ему не давался, деньги заглатывались, сигареты не выпадали. Хозяин фирмы «Дом моториста (Хоум ов моторист)» в Бирмингеме врезал в железное мурло автомата кулаком...

Джин Шерман как-то сказала про Барри Флетчера: «Он самый несчастный (анхэппи), печальный (сэд) человек в Дорридже». Почему так? Не знаю. На шее у Барри, от воротничка до щеки, шрам от недавно перенесенной операции... Это в подтверждение тривиальной истины, что не в богатстве счастье...

Мы вышли на волю, в небе чуть прорезался молодой, как съеденный мною теленок, месяц. На площадке ровными рядами стояли одинаковые — самые дорогие железные гробы жующих в ресторане богатых англичан...

Да, вот еще, пока не забыл: уик-энд у Мэри и Дэвида Грэггов, в Бэбингтоне, под Ливерпулем... Это — северо-запад Англии, здесь попросторнее, чем в Средней Англии, дует бриз с Ирландского моря, на горизонте синеют горы Уэльса, на той стороне реки Мези Ливерпуль с его жуткой химией... В Бэбингтон Ян Шерман ехал (драйв) как к себе домой в Дорридж. В каком-то из городков остановились у ограды похожего на другие дома. Джин сказала:

— Здесь жили мои папа и мама.

Я помню папу и маму Джин, зимою 1989 года мы сидели у камина в их доме, матушка Джин и Мэри Энни (и мою маму звали Анной) подавала нам чай с молоком, с ею испеченным бисквитом. Отец Джин и Мэри, дедушка Джон, большой книголюб, включил говорящий ящик с романом Оруэлла (читать уж не мог, глаза прохудились). Родителей Джин и Мэри унесло время, их нет, не будет и нас — единственная непреложная истина, о которой мы забываем, будучи в плену у преходящих оболещений.

— Здесь Джин работала семь лет, здесь мы с ней познакомились, — сказал Ян, когда мы проезжали мимо длинного кирпичного строения химического производства. Оказывается, Джин по специальности инженер-химик, но, как большинство женщин среднего класса, посвятила себя управлению домашним хозяйством.

Поют-разговаривают черные дрозды, близко, явственно, громко. Белый цвет с вишен почти облетел, розовый поблекнул, но держится. То и дело из Бирмингемского аэропорта поднимаются, пролетают над Дорриджем лайнеры (почему-то приходит на ум созвучное: а где братья Вайнеры?). Прилетела сорока. Днем ездили с Джин в Бирмингем, Джин надо привести в порядок (ей одной известный)

волосы, перед поездкой в Париж. На это ушло два часа, я слонялся по шоп сентеру (сентер шопу). В сентер шопе Бирмингема множество черных девушек и не совсем черных, но черноватых. Как-то раз я завел разговор на эту тему с Морин Эвершед — о прогрессирующем почернении Средней Англии. Она посмотрела на меня как на нечеловека, сказал: «Ну и что? Все люди на земле одинаковые». Джин сказала про черноватых на улицах Бирмингема: «Это — Индия, Пакистан». Черные девушки ужас как милостивы, почти страхолюдны. Есть белые женщины и мужчины невероятной толщины. Немцы? Парень с собакой играет на дудочке. Смуглая дама с узорно выстриженной мальчонкой взяла мальчонке вазу с мороженым, с бенгальскими огнями; мороженое искрило. На углах в будках старые мужики продают газеты, орут дикими голосами. Бирмингем — затейливый город, малоэтажный, выстроен на увалах: вверх, вниз.

Мы с Джин то и дело ездим в Бирмингем; Джин свозила меня на выступление перед студентами-русистами Бирмингемского университета. В университетский городок есть несколько въездов со шлагбаумчиками; у каждого въезда служитель в будке в ливрее. Один из них дал Джин жетон, объяснил, в какой из въездов нам надо въезжать. Наш въезд без служителя, с кассой; Джин кинула в кассу жетон, шлагбаумчик прыгнул кверху. Мы въехали.

Отыскивали нужного нам преподавателя русской кафедры Майкла Пушкина (нет, не потомок, однофамилец)... Его предки — выходцы из Одессы. В университете шла экзаменационная сессия, голоногие студиясы гуртились на лужайках и парапетах. На встречу со мною, как значилось на маленькой афише на дверях кафедры — поэтом и прозаиком из Санкт-Петербурга, пришли, надо полагать, наиболее преданные русистике (славистике?) юноши и девушки. Я тотчас выделил среди всех двух девушек — по их чистым, как небо в мае над Англией, юным глазам, с доверчивым в них любопытством к «русскому медведю». Так хотелось понравится молодым. Все-таки молодость окрыляет.

На кафедре у Майкла Пушкина я прочел в программе имена тех, кого здесь изучают, кто олицетворяет русскую литературу XX века: Цветаева, Ахматова, Пастернак, Мандельштам... Посчитал нужным заметить: «Мои юные друзья, конечно, эти писатели — великие мастера, у каждого у них за плечами очень русская печальная судьба,

но не думайте, что они покрывают все пространство русской литературы...» Майкл Пушкин мне возразил: «А кого вы еще можете назвать в двадцатом веке?» Я улыбнулся: «Ну, что вы, Майкл, у нас еще есть Есенин, Бунин... Поближе к нам Шолохов, Твардовский, Шукшин... Ну да, конечно, и Солженицын...»

— Ну, что вам еще сказать, мои милые бирмингемские русисты? Лучше я вам прочту стихотворение «Трубач (трумпэтер)» — картинку из жизни современного Санкт-Петербурга; нечто подобное, я думаю, можно увидеть и в Бирмингеме...

Налегке, в исходе века,  
на приступке у метро  
на трубе играет некто  
из Равеля — «Болеро»

Зол мороз, земля поката,  
в небе звезды голубы.  
Невзначай трубач стаккато  
извлекает из трубы.

От металла стынут губы,  
в полумгле краснеет медь...  
Раздается голос трубный —  
это надобно уметь.

Человек стоит на камне —  
русский, в валенках, живой,  
может, Коля или Ваня,  
с непокрытой головой.

Наземь кинута ушанка,  
голос зычен в пустоте:  
Я играю: «Варшавянка»,  
«Роза-мунда», «На безымянной высоте».

Он зовет, кого, не знаю,

обещает хоть кому:  
«Все, что есть, я вам сыграю,  
ног у каждую возьму».

Кто-то что-то покупает,  
кто-то что-то продает...  
На трубе трубач играет  
и ни капельки не врет.

Я прочел это стихотворение по-английски, в нашем с Яном Шерманом переводе.

Джин с Яном улепетнули на четыре дня в Париж, на выставку Марка Шагала и вообще проветриться. В Лондоне сядут в поезд и напрямиком под Ла-Маншем — лататы.

Готовлюсь к вечернему выступлению на курсах русского языка в Бирмингеме. То есть как готовлюсь? просто размышляю с пером в руке. «Я думал, о чем бы поговорить с вами. Вы изучаете русский язык. Очевидно, главное в нашей беседе — само звучание языка. Русский язык имеет несколько уровней; тот, что изучаете вы, самый верхний слой, это — служебный язык, то есть различные варианты фраз и словосочетаний, необходимых, ну, скажем, при первом визите англичанина в Россию. Выучить эти фразы не значит овладеть русским языком, в нем есть еще глубинные слои, уходящие корнями в народную речь...

На курсах русского языка в Бирмингеме мне задавали вопросы, я отвечал.

— Почему распался Советский Союз?

Вопрос вопросов. Если б я знал, почему...

— Насколько я знаю, внутренней потребности в отделении друг от друга ни у кого не было. Разделились и мучаемся. Нас не спрашивали... Простых людей, таких, как мы с вами, обманули...

В этом месте русские жены английских мужей — они превалировали (доминировали) на курсах русского языка в Бирмингеме, в качестве преподавателей-словесниц — зашипели, как клубок весенних змей: происшествие в той стране, откуда они родом,

им представлялось емократическим благом. Я отбивался от русско-англюязычных леди, как мог: «У нас же плюрализм мнений, я высказываю свою точку зрения...» Одна из русских жен английских мужей, черненькая, длинноносая, достала из чехла гитару, заиграла и запела песенку Окуджавы, дрожащим от волнения голосишком: «Когда мне невмочь пересилить беду, когда подступает отчаянье, я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный...»

Домой в Дорридж меня отвез Крис Эллиот, менеджер или, по-нашему, староста курсов русского языка в Бирмингеме. По пути мы заехали в паб, неамериканский, простонародный, с удовольствием выпили пива. В Дорридже, на Уоррен Драйв, 12, наедине друг с другом (Шерманы в Париже, Крис Шерман с друзьями в пабе), усидели бутылку водки, при расставании долго обнимались. Крис Эллиот живет в Ворвике, у него жена, дочка, кошка и собака. Согласно выработанной Шерманами программе, завтра мы с Крисом Эллиотом берем ленч (тэйк э ленч) в сельском пабе, в прелестном местечке, послезавтра едем куда-то в Уэльс, на какую-то ферму, где нам приготовлен прием.

Ну да, с сего момента Крис Эллиот берет попечение надо мной, становится моим чичероне.

## X

Крис Эллиот — странный малый... Когда мы с ним вдвоем в машине, у него старенький «Фольксваген», вполне разговаривает по-русски, но стоит попасть в английскую компанию, теряет дар русскоязычия. Он мне сказал, что по происхождению француз, французский его родной язык; закончил Сорбонну, защитил диссертацию по профессии экономист, имеет печатные труды. Почему-то провел два года в Нижнем Новгороде, Казани, бывал в Москве, Питере. И еще два года в Эфиопии. Это сколько же у него осталось для жизни в Ворвике, с женой, дочкой, собакой и кошкой? Ему сорок четыре года, он лысый, веселого нрава, водку пьет не по-английски глоточками, а по-русски единым махом. Крис Эллиот сказал, что

пролежал два года в параличе, руки до сих пор плохо слушаются. Показал руки, какие они непослушные. Крис сказал, что он на пенсии по инвалидности, на службу ходить не надо, весело посмеялся этому обстоятельству.

Первый наш с Крисом Эллиотом ленч в сельском пабе я описал в стихах, с пропусками и преувеличениями, но близко к натуре:

...и в пабе том провинциальном,  
от шумных центров в стороне,  
я пиво пил — принципиально!  
не в стенах паба, а вовне.  
Трава повсюду зеленела,  
цвела черемуха, вокруг  
весна во сне оцепенела;  
со мною пиво пил мой друг.  
Вблизи канал тянулся узкий,  
баржа влачилась в Бирмингем...  
мой друг ни бе, ни ме по-русски,  
я по-английски глух и нем.  
Истомно Англия дышала  
цветочной розовой пыльцой.  
Закуска легкая лежала.  
Пел черный дрозд, как Виктор Цой.  
Мы с другом искренно молчали,  
бокалы пенились, вдали  
машины бешеные мчали.  
Шел дух весенний от земли.  
Как вдруг за столик ненакрытый,  
от нас ничуть не вдалеке  
(ногами в землю крепко врытый)  
две дамы сели. «Э-ге-ге!» —  
мой друг, не знающий по-русски,  
сказал, макая в пиво нос...  
На леди были чудо-блузки,  
а кто такие — вот вопрос,  
до сей поры не разрешенный...

Весна в исходе, дни бегут...  
Мы возвратились к нашим женам...  
А пиво было вери гуд!

Дорога от Дорриджа до уэльской деревушки Мейфорд прошла незаметно, всего часа два. Крис Эллиот сверялся по карте. Ровная Средняя Англия перешла в холмистую Уэльскую, вблизи зеленую, вдали синюю, облитую молоком весеннего цвета (образ взят мною у Некрасова: как увижу вишневый цвет, так сразу на ум приходят молочные реки — в России; а здесь какое же молоко? нигде не видно ни коровенки). В Мейфорде свернули с большака на автомобильную тропу, асфальтированную (тропа для путника разве что где-нибудь вон там, на холмах), скоро въехали на подворье усадьбы, со старинным барским домом, как где-нибудь в Тригорском; дом белокаменный, с колоннами и портиком. Встретить нас вышел высокий сухопарый, голубоглазый старик (такой, как я), провел нас через анфиладу комнат, точнее, залов, с гравюрами, офортами, литографиями на стенах, откликающимися на шаги полами, с деревянной лестницей, ведущей куда-то наверх. Мы пришли к накрытому столу на примыкающей к террасе площадке (стало быть, нас ждали); площадку окаймляли клумбы с цветами; прямо перед нами простирались холмы и долины Уэльса.

Пределы усадьбы были обозначены бордюром мелколиственного, жесткого декоративного кустарника, затейливо выстриженного. Мой первый вопрос хозяину был: чем стригут? Он сказал, что электрической стригущей машиной. Имени хозяина я пока что не знал. Скоро выяснится, что и он не знает моего имени. Ну и гости приехали: неведомо кто с большой дороги, неведомо к кому. Визит начинается с полного незнакомства (оказывается, Крис здесь тоже впервые), потом откроется множество интересных вещей, но постепенно, замедленно. Хозяин фермы по-крестьянски малословен, Крис Эллиот, как только явилась возможность лопотать по-английски, начисто вырубился из русскоязычия.

Хозяин принес на стол миску с чем-то жидким, разлил по тарелкам... Ага, это суп, может быть, щи, наподобие наших

щавельных, остуженные, ледяные. Мой второй вопрос хозяину: что мы едим, то есть хлебаем? Хозяин сказал, что это суп из шпината, охлажденный не в холодильнике, а в погребе. В супе из шпината плавали лиловые цветы, такие есть и у нас на лужайках. Я спросил, можно ли цветы проглатывать или они для украшения супа. Неулыбчивый хозяин в первый раз улыбнулся: не бойся, глотай. Мы представились друг другу: хозяина зовут Саймон Мид, по-русски Семен. Началось наше знакомство, приживание друг к другу, тоже замедленное, как сама жизнь на лоне природы, среди холмов и долин. Когда хозяин вышел из-за стола зачем-то: за белым вином, апельсиновым соком, поджаренными колбасками с картошкой — Крис Эллиот мне сказал:

— Семен очень богатый, был в Лондоне финансистом, потом стал фермером.

Да, но где хозяйка, домочадцы? Согласно программе, составленной для меня Шерманами, а также по заверению Криса, на этой ферме говорят по-русски. Кто говорит? Саймон Мид ни бум-бум. Оказывается, в программе неувязка, непредвиденное обстоятельство (что бывает при исполнении всех программ, ибо жизнь состоит из непредвиденных обстоятельств): у жены Саймона Софи мама живет где-то на другом краю Англии (благо от края до края рукой подать), старушке 94 года, бедняжка упала, сломала шейку бедра, что случается со старушками во всех странах света (то же самое недавно случилось с моей тещей). Софи находится неотлучно при маме. Да, Софи знает по-русски, меня отправили на ферму в Уэльс в надежде на Софи.

Отобедали; Саймон малость разговорился: у них с Софи пятеро детей, два сына и дочка живут поблизости, тоже фермерствуют. «Вон там на холме видите желтый дом? Это дом моего сына. Двое живут в городах».

Саймон отвел меня по лестнице вверх в отведенную мне комнату. Каждая ступенька лестницы отозвалась своим звуком. Над лестницей развешаны офорты, кажется, со всеми цветами (флауэрс) мира. В комнате две постели со взбитыми подушками и тоже картины-гравюры, на них знакомые лица: матушка императрица Екатерина Великая — подлинник, русская гравюра XVIII века; канцлер Елизаветинской эпохи Михаил Воронцов... На полках толстенные

тома, с пылью веков... Но это потом, пока что только окидываю взором, предвкушая открытие совершенно неведомого мира.

Саймон зовет на первую прогулку по окрестности. Сначала на пасеку, здесь же, на усадьбе. Ульи под молоком (сливками) цветущего вишневого, яблоневого сада... Пора цветения в Англии затяжная: я здесь уже две недели, сады цветут, не увядают (да, я в Уэльсе, повыше над уровнем моря, чем в Средней Англии, и весна попозже). У нас весенний цвет подобен первому снегу: только забелеет, заблагоухает — и как языком его слижет. Потом — возвращение снега, белые наши цветы: подснежники, черемуха, яблони, ландыши, рябина, таволга — зацветут, как снегом посыпет. Там, глядишь, Иван-чай оденется белым пухом, будто пороша, засеребрятся паутинки в лесу. И опять все станет белым: зима. Господи, как же все быстролетно, не остановишь, не успеваешь надышаться дыханием белых цветов. Пал снег и на твою голову. О, как долги зимы в России, как коротки весны!

По автотропе въехали на верхотуру, дальше пешком. На воротах у входа в лес повешен знак — желтая стрела. Саймон сказал, что этот лес государственный, для всех. Ну и ну! Неужели? Как это ухитрилось английское государство оттягать кусочек леса у частного владельца? Саймон предложил нам полюбоваться синеющей в дымке панорамой гор. Крис Эллиот заподпрыгивал: «Не Кавказ! Не Кавказ!» Саймон сказал, что там граница Англии с Уэльсом. Мы пошли по государственному лесу. В лесу росли лиственницы, но Саймон сказал, что это шотландские сосны (скотлэнд пайн). Ели посажены в рядки, может быть, посеяны, выросли так часто, тесно, что живые у елок только вершинки, снизу кроны отсохли. Лес посажен на крутом боку холма, в густолесье протоптаны лазы. Саймон сказал, что это барсуки ходят.

На лугу мы увидели идущего невдалеке от нас по траве фазана. Саймон сказал, что вон там, на вершинах холмов фазанов было полно, но их перестреляли нехорошие люди. Мы шли по полю со всходами овса (оатс), перед нами проскакал кролик (рэббит), впрочем, можно его посчитать за зайца. В котловине приглашало посмотреть на себя озеро, так хотелось в него бултыхнуться. Я спросил у Саймона, как насчет того, чтобы нырнуть (с утра было + 28°). Саймон сказал, что ни в коем случае. В Англии, кажется, нет водоема, куда бы можно было окунуться: цивилизация, только приватные бассейны (пулз). Джин

Шерман сказала, что нынче в мае в Англии «русская жара» — неожиданная интерпретация России, как-будто это Африка. В России от жары можно макнуться в речку, озеро, пруд, море, а в Англии — увы (ай эм сорри), парься. Или становись богатым, заводи бассейн.

В уэльском лесу росли дубы, буки, попалась всего одна береза на весь государственный лес. В ногах синеют-лиловеют колокольчики (блю беллз), то есть голубые колокола.

На опушке леса, на вершине травянистого холма, близко к его крутосклону, стоял деревянный дом из бруса. Саймон сказал, что это — «Рашен хаус, русский дом». Почему русский? Очевидно, потому, что, собственно, не дом в английском понимании, а халупа на русский манер, в «русском доме» живут дочь Саймона Мида Рэчел, ее муж Майк, их крохотное дитя. Зять Саймона с детенышем сидели на траве, на разостланном одеяле, и цацкались. Почему-то единственной игрушкой младенцу служила завитая в кольца змея, с торчащим из пасти жалом. Рэчел представляла собой крупную, с голыми коленками, большими грудями под простым платьем деваху, собственно, сельскую бабу. Майк небольшой, в полосатой тельняшке, с отсутствующим выражением на лице, как-будто его томила какая-то главная забота.

На другой (или на третий?) день моего гостевания на ферме Саймона Мида он отвез меня полюбоваться замком-крепостью с парком. В парке росли четырехсотлетние, вершинами в поднебесье, секвойи, под каждой из них штабелек спиленных сухих сучьев. Саймон сказал, что это работа его зятя: Майк приезжает сюда и в другие места, где растут реликтовые секвойи, забирается по стволу до вершины, спиливает-срубает то, что отжило. Трудная, опасная (вери хард, дэнджэрэс) работа.

Рэчел принесла яблочного соку со льдом, чаю с молоком. Саймон со всех сторон снимал своего внучонка, было видно, что любит.

Мы спустились по лугу, перелезли через изгороди в устроенных для одного перелаза местах. Саймон взял ведро, сходил в сараюшку, чего-то принес, высыпал в бадейку на овечьем выгоне; овцы (шип) сунули морды в кормушку.

Ночью я перелистывал том за томом архив рода князей Воронцовых — двадцать четыре тома, изданные в России в прошлом веке, по-русски и по-французски. Я уже знал, что Саймон Мид — потомок русского древнего знатного рода. Его прапрадед Семен

Воронцов (прапрапетушка княгиня Дашкова-Воронцова) служил послом Российской империи в Англии при императрице Екатерине, при Павле, Александре I, в Лондоне и помер, в 1835 году. У Семена Воронцова осталась дочь Екатерина (еще был сын Мишель). На Екатерине женился некий английский сэр (в нарисованном для меня Саймоном Мидом генеалогическом древе фамилии неразборчивы). В семье появилась дочь Елизавета, на ней женился сэр по фамилии Мид. Последний побег в древе Мидов — Саймон (за ним его дети, внуки); он и владелец родовых реликвий. Ну да, потому и принял меня: я первый гость из России у него на ферме, близ деревни Мейфод, в Уэльсе. В жилах Саймона Мида течет русская голубая кровь, пусть сильно разбавленная английскими кровями; в его долговязом сухопаром теле — белая косточка.

В доме Мидов, в гостиной с камином, с кожаными диванами, с гравюрами на стенах лицами русской, британской знати — множество книг; в кабинете-библиотеке хозяина и того больше. Написанные по-английски книги понятнее мне, чем говорящие по-английски люди. И опять знакомые с детства имена: Вальтер Скотт, Диккенс, Теккерей, Вордсворт, Джек Лондон, Конан Дойль, Гоголь, Толстой, Чехов, Горький, Шолохов...

Назавтра хозяин сварил грибного супу из шампиньонов. Всякий раз, спускаясь за чем-нибудь в погреб, выносил оттуда на ладони лягушонка-альбиносика, не выдавшего свету, отпускал его в траву. Между делом давал кошачьего корму рыжему коту, кормил желтеньких заполошных цыплят. Как-то было неловко влезать в чужие дела, но все же я спросил у Саймона Мида, в чем состоит его фермерство, ведет ли он хозяйство, где его овцы. Саймон сказал, что овцы есть, но совсем мало; принадлежащие ему овечьи выпасы он сдает арендаторам (тенантс). Все ли я теперь знаю о мистере Миде? О, нет, почти ничего, Была бы Софи, она бы все, все рассказала.

Софи позвонила из того места, где ухаживала за увечной матушкой, Саймон дал мне трубку, я услышал русскую речь Софи. Она сказала, что завтра, в воскресенье, в городе Велшпуле будет большой, чуть ли не европейский, рынок скота, мне обязательно надо побывать, Саймону сказано об этом, он свезет и покажет. Софи сочла нужным сообщить мне, что английское правительство делает большие инвестиции в фермерское хозяйство, посему оно и благоденствует.

Может быть, она хотела внушить мне мысль о превосходстве фермерского хозяйства над колхозно-совхозным. Идеиные женщины дай Бог какие пропагандисты своих идей!

Вечером поехали в городок Монтгомери, по ту сторону границы Уэльса с Англией, но все еще посреди уэльских холмов и долин. Городок Монтгомери — прелестное местечко (вери найс плэйс), как все городки Англии, чем дальше от центра, тем лучше: уют, спокойствие, доброжелательность, достаток. Мы с Хрисом Эллиотом ехали на его драндулете, Саймон на пикапе, наверное, единственном таком во всей Великобритании: замызганном, битом, мало того, с грузом песка в кузовке: хозяин собирался что-то посыпать песком, да так и не удосужился. На таких машинах ездят только в России; должно быть, сказались русские гены в натуре уэльского фермера.

В Монтгомери подрулили к трехэтажному, однако маленькому дому, фасадом на улицу городка. Нас встретили: мистер Джон Коутс и молодая дама по имени Францис. Мы прибыли в этот дом согласно программе Шерманов или вне программы, по воле Мидов (с согласия мистера Коутса), не знаю. Джон Коутс сразу сказал, что с ним можно говорить по-русски, с Францис и того пуще. Джон Коутс проявил осведомленность в русских замашках (в отличие от Саймона Мида), предложил мне выпить водки, хотя на дворе несусветная жара. В России он мог сойти за русского, где-нибудь еще за кого-нибудь (в Британии за британца): среднего роста пожилой человек с мягкими манерами, со следами думанных-передуманных мыслей на лице.

Хозяин пригласил гостей в дом к столу. Подавала, распорядилась застольем, обращалась ко мне по-русски, переводила меня на английский Францис — высокая, стройная, темноглазая, просто, по-студенчески одетая, суровая, но с внутренним, вдруг проливающимся в улыбке теплом. Покуда рассаживались, Крис Эллиот успел мне нашептать (вспомнил русский язык): «Джон Коутс был профессором в Кембридже, вышел на пенсию и забрал с собой в свою виллу в Монтгомери аспирантку Францис. Так и живут на пару с подругой, это в Англии принято. А Джонова жена в Кембридже рвет и мечет...»

За столом кроме нас с Саймоном Мидом, Криса Эллиота сидела юная китаянка с блестящими агатовыми глазами, посматривала на меня, как-будто знала что-то такое, едва удерживалась от смеха. После

мне скажут, что смешливая китайка приехала с острова Тайваня учиться в английский университет, квартирует, в доме Коутса; Францис дает ей уроки английского языка. Еще был гость — ровесник хозяина, ветеран Второй мировой войны, приглашенный в связи с 50-летием нашей общей Победы. Отмечают Победу в Англии восьмого мая; сегодня седьмое, разговор за столом перебрасывался с предмета на предмет. Речь зашла о русской деревенской избе (рашен кантри хаус). Я поведал англичанам о русской печке, как сладко спится на ней в долгие, мозглые осенние ночи. Гость Джона Коутса сделал на это счет важное замечание. Францис перевела его речь дословно. Вообще, было видно, что молодая хозяйка изо всех сил старалась угодить гостям и хозяину; приготовленный ею лосось был объединением.

— Мистер такой-то сказал, — перевела Францис, — что русская печь хороша в том случае, если на ней найдется места для двоих: она снизу, он сверху или наоборот.

Переводя дословно реплику мистера, Францис смутилась. Я заверил, что места хватит.

После каждой смены блюд мистер Коутс (он просил меня звать его просто Джоном) помогал Францис убрать посуду, относил тарелки вилки в раковину (в маленьком доме профессора столовая совмещена с кухней), мыл, нежно поглядывал на подругу.

Кто таков Джон Гордон Коутс, я постепенно узнаю из его рассказов о себе. Рассказ первый: «В конце войны я был парашютистом (что значит быть парашютистом, Джон не объяснил). Меня сбросили в Венгрии, вблизи Будапешта. Там меня скрыла от немцев, спасла мою жизнь венгерская девушка. В Будапешт должна была вступить Красная Армия. Все так считали, что придут русские солдаты и изнасилуют всех девушек. Когда я в первый раз увидел русских солдат, я обнял мою девушку, сказал им: «Это моя девушка». Ее не тронули. Мы с той венгерской девушкой переписываемся всю жизнь. Недавно я был у нее в гостях».

Второй рассказ Джона Коутса... собственно, не рассказ, а необходимая, по его (и каждого англичанина) мнению, самохарактеристика: «Я получаю три пенсии: одну от министерства иностранных дел, за службу во время войны, другую из Кембриджского университета как профессор, третью на общих основаниях по возрасту. Мне хватает на все». Это в Англии главное:

хватает на все или не на все. Англичанин отлично знает, что такое «на все хватает». Наш «новый русский» понятия не имеет, чего потребно его животу, бесится с жиру.

Самым неожиданным на приеме (парти) в доме Джона Коутса было заявление Криса Эллиота... Крис сам по себе представляет набор неожиданностей... Он заявил: «Я разговаривал по телефону с моими родителями. Мне необходимо у них быть. Я сейчас уезжаю». Из этого заявления проистекала полная неясность в отношении моего дальнейшего гостевания у чужих людей, кто меня доставит в то место, из которого я явился. За столом воцарилась пауза. Крис Эллиот встал и уехал. Джон посовещался с Францис, Саймоном. Я безропотно ждал решения своей участи. Мне доложили: «Сегодня вы ночуете у Саймона Мида, завтра вечером пойдем на гору над Монтгомери, там будет костер по случаю Победы. Ночуете у нас. Утром Францис отвезет вас в Дорридж, ей все равно надо ехать в Кембридж, это по пути».

О'кей! Вери велл!

Ночью в доме Мидов читал архив князей Воронцовых: письма Семена Воронцова графу Безбородко, другим титулованным особам, донесения послу Российской империи в Лондоне штатных осведомителей — послы всех держав во все времена нуждаются в платных ушах и глазах. Утром Саймон вынес из погреба лягушонка, пустил в траву. Попили чаю- кофею, кому что по душе. Нельзя сказать, что мы сильно разговорились с молчаливым хозяином фермы, однако нам стало легко друг с другом: вот чайник, вот кофейник, поджарены тосты, вот масло, сахар, газета «Гардиан», рыжий кот. Посмотрим в глаза друг другу и улыбнемся, а то и походя приобнимемся. Сели, поехали в Велшпул, на скотскую ярмарку. Затесались в толпу уэльских мужиков-скотопасов. В загонках теснились овцы, их привезли, я думаю, в дюралевых фургончиках, на прицепе у лендроверов, в таких же увезут купленных. Над овцами по эстакадам похаживали джентльмены, выкрикивали цену, проводили аукцион. Фермеры в твидовых пиджаках, рябеньких кепочках, в свое время их звали у нас «лондонками». Со многими Саймон здоровался, разговаривал.

В отдельном манеже продавали быков: в центре как бы трибуна, президиум, аукционер с молотком. Джентльмен в галстук открывал воротца, хворостиной выгонял очередного продажного быка (балл) на

обозрение стоящей в амфитеатре публики. Обезумевший от публичности бык метался, испражнялся: на табло появлялись цифры: вес, возраст рогатого. Происходил скорый торг, ударом молотка отбивалась последняя цена (ласт прайс). Второй джентльмен в галстук, с хворостиной, выгонял проданного быка в другие воротца.

Отобедали (отленчевали) в харчевне в Велшпуле, куда-то поехали, куда, я не спрашивал: не все ли равно? я находился во власти неведомых, почему-то добрых ко мне сил. По пологим подъемам, серпантинам мы забирались все выше, на самое темя Уэльской зеленой гряды. Остановились, когда выше стало некуда ехать. Зеленое, синее, белокипенное осталось внизу под нами, вокруг простиралось ржаво-бурое заболоченное, мшистое плоскогорье.

— Это — вершина Уэльса, — сказал Саймон.

Мы постояли, огляделись, поехали вниз.

Я сказал моему доброхотному чичероне:

— Спасибо, Саймон. Ты мне показал свой Уэльс. Я этого не забуду (дон'т фогет). Приезжай к нам в Россию, я тебе тоже кое-что покажу.

9 мая 1995 года. Городок Монтгомери, на границе Англии с Уэльсом. Цветет сирень. Вчера вечером восходили на Городскую гору. Так сказала Францис: гора называется Городской. Сперва шли каменистой дорогой, затем на травяную макушку, как в Сростках на гору Пикет. Я поднимался все медленнее, у меня не тянул мой мотор... Я поднялся на вершину, когда монгомерийские обыватели пребывали в двухминутном молчании, в знак поминовения павших на той войне. Перед молчанием лорд-мэр Монтгомери, молодой человек, сказал речь, в том смысле, что в Гайдпарке в Лондоне королева (квин) зажгла костер, объявила двухминутное молчание, а теперь и мы, вслед за королевой. Дул холодный ветер. Огню были преданы сложенные для этого ящики. Пламя стелилось по траве. На других холмах Уэльса тоже зажигали костры, тем отмечая 50-летие Победы во Второй мировой войне.

Сойдя с горы, сидели у камина в доме Коутса, у живого огня: хозяин, Францис, Саймон, гость из России. Я читал Есенина, Пушкина, специально взял их для такого случая: почитать англичанам у камина. Слушали, доходило. Особенно слушал Саймон, улавливал

звуки чужой ему, но родной его предкам речи. Джон выставил бутылку виски: наливайте и пейте.

Саймон уехал за полночь. Францис ушла к себе. Джон досказал мне важные моменты собственной биографии. Третий рассказ мистера Джона Гордона Коутса о себе перескажу своими словами. В молодости, будучи «парашютистом», он изучил венгерский язык (и русский). В зрелые годы посвятил себя научной деятельности в Кембриджском университете. Предметом исследования избрал коми-зырянскую литературу, для чего овладел и коми языком. Его докторская диссертация — о коми поэте, впоследствии ученом-филологе Иване Лыткине; профессор Коутс считает его основоположником коми литературы. В 37-м году Ивана Лыткина посадили; по счастью, он не сгинул в лагерях, вернулся. В 60-м году Джон Коутс побывал в Сыктывкаре, повидался со своим героем. Джон принес две неподъемные папки:

— Вот моя диссертация. Ее собирались перевести на русский язык, издать в Сыктывкаре, но почему-то дело остановилось. Раньше мне присылали журналы на коми языке, научные издания, теперь связь прекратилась. Я им пишу, мне не отвечают, не могу понять, в чем дело.

Я сказал:

— Джон, все объясняется просто: пересылка корреспонденции за границу у нас стала слишком дорогим удовольствием. Дорого, нет денег, вот и не пишут...

— Да, но я готов перевести им доллары...

Я посочувствовал единственному в Англии, а может быть, и во всем западном мире специалисту по коми-зырянской литературе (Францис — специалист по якутской литературе), а как ему помочь? Пока не знаю.

Забегая вперед, скажу, что по возвращении домой обратился за советом к одному коми писателю. Он мне сказал: «Профессора Коутса и его труд об Иване Лыткине у нас знают, но общение с ним пресекли наши органы. У них есть данные, что он профессиональный разведчик (парашютист?)...»

Но все это далеко, далеко, в минувшей эпохе. Я ночевал в доме почему-то доброго ко мне человека Джона Коутса, в городке Монтгомери, в крохотной комнатке, на постели китаянки с Тайваня, куда-то отлучившейся. В восемь утра хозяин принес мне чашку чая с

молоком. Так принято в Англии: начинать день с чашки чая, подносить чашку своему ближнему.

С утра девятого мая ехали с Францис по зеленым холмам Англии, спрыснутым ранним утром дождем, охлажденным откуда-то принесенным зарядом холода. Францис сказала:

— Я уже двадцать лет имею водительские права, но у меня не было своей машины. Это моя первая, мне ее подарил Джон.

## XI

Шерманы уехали в Париж на выставку Шагала, а я — в Лондон. Днем пили пиво в пабе у станции метро Квинсвэй (путь королевы; еще есть Кингсвэй — путь короля) с корреспондентом «Правды» Павлом Богомоловым. Пиво черное, бархатное, солодовое; мера пива не кружка, а пинта. Перед тем, как идти в паб, я купил на Портобелло Маркет копченой макрели; мы пили английское пиво по-русски, под рыбу; англичане пьют так или заедают орешками, соломками, как птички. Мы просидели с Павлом в пабе, решительно никем не тревожимые, два часа, все говорили, говорили. Говорить по-русски с товарищем в Москве одно, а в Лондоне совсем другое — утонченное удовольствие, деликатес.

Ночую у Люси Дэниэлс, секретаря Клуба Пушкина (на встрече сама пригласила), в многоэтажном «точечном» доме, на Лэйтимер Роуд. Муж Люси индус, бывший военный летчик; они поженились в Индии; в Лондоне Люсин муж служит в охране отеля, дежурит по ночам. Их двенадцатилетний сын Сэмюэл, смуглый сумеречный мальчик, метис ирландско-индусских кровей, весь вечер смотрел телевизор. Вместе со мной в гостях у Люси (тоже остался ночевать) был рыжебородый Джон, в прошлом католический монах, разочаровавшийся в католицизме, принявший православие, читающий лекции по истории богословия. Пили красное вино, потом белое, ели вкусную еду, приготовленную Люси.

Из окна квартиры Люси Дэниэлс на седьмом этаже хорошо виден торчащий неподалеку, такой же «точечный» дом на Шеппердз Буш

Грин, носящий название Вудфорт Корт (Люсин дом тоже как-то называется), в котором живет Ольга Ивановна Бабляк, при ней, повидимому, и Володя Ковальский...

Да, вот они, здрастье! Ольге Ивановне уже 81 год, Володе 76. Про Володю не скажешь, что он старик, но... в глазах у него прибавилось дурного шизофренического блеску. У Володи Ковальского есть другое имя, другая фамилия. Живя с войны в Англии, он постоянно скрывался от карающей руки Советского Союза, в нем надо всем другим возобладала мания преследования. Теперь что же? на родине родные поумирали, бывшие когда-то связи пересохли. Теперь одинокое старчество на чужбине, распад рассудка и смерть.

— Ельцин продает архивы, — сказал Володя. — Вы бы не могли посмотреть? там должно быть что-нибудь про меня, я же предатель родины. Там же у вас про каждого что-нибудь было. О, да!

В последний вечер Шерманы пригласили на прощальный ужин одного Криса Эллиота. Мы хорошо выпили Смирновской водки, всласть поели зажаренную Джин свиную отбивную, поставили кассету с записью русских переплясов в исполнении Саши Корбакова на баяне и пустились в пляс. Каждый выделывал коленца в меру подвижности своих суставов и степени очарованности. Весело было нам? Не скажу, не знаю. Я радовался, что завтра буду дома, просто изнемогал от радости. А чему радоваться англичанам? Что наконец избавятся от русского гостя? Кто же их знает? Все же в их англосаксонских душах есть что-то нам родственное, славянское.

До новой встречи! Гуд бай!